

памяти а.а.ахматовой

стихи,
письма,
воспоми-
нания

ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

СТИХИ ПИСЬМА

Л. ЧУКОВСКАЯ

« Записки об Анне Ахматовой »

YMCA-Press
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève, Paris 5.

Обложка А. Рагузина

© 1974 by YMCA-PRESS

СТИХОТВОРЕНИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ

Некоторые из предлагаемых здесь читателю стихотворений Анны Ахматовой уже публиковались. При составлении отделов мы руководствовались следующим :

В I отдел включены стихи по списку из письма Ахматовой 1966 года, публикуемого ниже на стр. 48, которые нам удалось разыскать.

При составлении II отдела мы ориентировались на устные указания Анны Андреевны, сделанные ею незадолго до смерти.

Составители

I

Немудрено, что похоронным звоном
Звучит порой непокоренный стих...
Пустынно здесь! уже за Флегетоном
Три четверти читателей моих.
А вы, друзья! — осталось вас немного,
Мне оттого вы каждый день милей.
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней.

февраль 1958
Болшево

ОТРЫВОК

.
О Боже, за себя я все могу простить,
Но лучше б ястребом ягненка мне когтить
Или змеей уснувших жалить в поле,
Чем человеком быть и видеть поневоле,
Что люди делают, и сквозь тлетворный срам
Не сметь поднять глаза к высоким небесам.

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб ?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп ?
За то, что я не издевалась
Над горькой гибелью друзей ?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей ?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

1935

Пива светлого наварено,
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —

Крепким словом, прибауткою
За беседою хмельной,
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.

И несутся речи шумные
От гульбы да от вина :
Порешили люди умные :
— Наше дело — сторона.

1921. Рождество
Бежецк

НЕМНОГО ГЕОГРАФИИ

О.М.

Не столицей европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкой енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Акбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный запах прогнивших нар, —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными — и тобой.

1937

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...
И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

ПОСЛЕДНИЙ ТОСТ

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

1934

ОТРЫВКИ ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ПОЭМЫ «РУССКИЙ ТРИАНОН»

(Девяностые годы)

I

В тени елизаветинских боскетов
Гуляют пушкинских красавиц внучки.
Все в скромных канотье, в тугих корсетах,
И держат зонтик сморщенные ручки.
Мопс на цепочке, в сумочке драже,
И компаньонка с Жип или Бурже.

[С вокзала к парку легкие кареты,
Как с похорон торжественных спешат,
В них дамы — в сарафанчики одеты,
А с английским акцентом говорят.
Одна из них (как разглашать секреты,
Мне этого наверно не простят)
Попала в вавилонские блудницы,
А тезка мне и лучший друг царицы.]

II

Как я люблю пологий склон зимы,
Ее огни, и мраки, и истому,
Сухого снега круглые холмы,
И чувство, что вовек не будешь дома.
Черна вдали рождественская ель,
Кричит ворона, кончилась метель.
И оттепели наступившей рад,
Уже струится первый водопад.

И рушилась твердыня Эрзерума,
Кровь заливала горло Дарданелл...
Но в этом парке не слышали шума,
Хор за обедней так прекрасно пел;
Но в этом парке мрачно и угрюмо
Сияет месяц, снег алмазно бел.

III

Прикинувшись солдаткой, выло горе,
Как конь, вставал дредноут на дыбы,
И ледяные пенные столбы
Взбешенное выбрасывало море —
До звезд нетленных — из груди своей.
И не считали умерших людей.

.

[О знал ли ты, любимец двух столетий,
Как грозно третьим будет принят он
Мне суждено запомнить этот сон,
Как помнят лишь осиротевши дети...]

.

На Белой Башне дремлет пулемет,
[И парк безлюден, как сибирский лес,]

Вокруг дворца гусарские разъезды,
Внимательные северные звезды
(Совсем не те, что будут через год),
Прищурившись, глядят в окно Лицея,
Где тень его над томом Апулея.

1925-1935

И ты мне все простишь :
И даже то, что я не молодая,
И даже то, что с именем моим,
Как с благостным огнем тлетворный дым,
Слилась навеки клевета глухая.

Начало 20-х годов

Ты прости мне, что я плохо правлю,
Плохо правлю да светло живу,
Память в песнях о себе оставлю,
И тебе приснилась наяву.
Ты прости меня, еще не зная,
Что навеки с именем моим,
Как с огнем веселым едкий дым,
Сочеталась клевета глухая.

1927 ?

.
Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.

С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать.

А после, на дровнях, в сумерки,
В навозном снегу тонуть.
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь ?

ЧЕРЕПКИ

You cannot leave your mother an orphan
Joyce

I

Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном ...
На позорном помосте беды,
Как под тронным стою балдахином...

II

Вот и dospopился, яpостный спорщик,
До енисейских равнин...
Вам он бродяга, шуан, заговорщик, —
Мне он — единственный сын.

III

Семь тысяч и три километра...
Не услышишь как мать зовет
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод,
Там дичаешь, звереешь — ты милый,
Ты последний и первый, ты — наш.
Над моей Ленинградской могилой
Равнодушная бродит весна.

IV

Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.
Я всех на земле виноватей
Кто был и кто будет, кто есть
И мне в сумасшедшей палате
Валяться — великая честь.

V

Вы меня, как убитого зверя
На кровавый подымете крюк,
Чтоб хихикая и не веря
Иноземцы бродили вокруг
И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

ПОДРАЖАНИЕ АРМЯНСКОМУ

Я приснюсь тебе черной овцою
На нетвердых, сухих ногах,
Подойду, заблею, завою :
« Сладко ль ужинал, падишах ?
Ты вселенную держишь, как бусу,
Светлой волей Аллаха храним. . .
И пришелся ль сынок мой по вкусу
И тебе, и деткам твоим ? »

СТЕКЛЯННЫЙ ЗВОНОК

Стеклянный звонок
Бежит со всех ног.
Неужто сегодня срок ?
Постой у порога,
Подожди немного,
Меня не трогай,
Ради Бога !

И неоплаканною тенью
Я буду здесь бродить в ночи,
Когда зацветшею сиренью
Играют лунные лучи.

Шереметевский сад, 1926

Что войны, что чума? — конец им виден скорый,
Им приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречен.

1962

ЗАКЛИНАНИЕ

Из тюремных ворот,
Из заохтенских болот,
Путем нехоженным,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незванный,
Несуженый, —
Приди ко мне ужинать.

1935

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька нашего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены
. и удача
От нашего порога ни на шаг
За все семь лет не смела отойти, —
Не уменьшали это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко
В то время как мы за полночь старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступеньки,
Как о пощаде жалостно моля,
И говорил ты странно улыбаясь :
« Кого о н и по лестнице несут ? »

Теперь ты там, где знают все, — скажи :
Что в этом доме жило кроме нас ?

(1921, Ц.С.)

СТАНСЫ

Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь.
Как крестный ход идут часы Страстной недели.
Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле
Никто, никто, никто не может мне помочь ?

В Кремле не надо жить, Преображенец прав,
Здесь древней ярости еще кишат микробы :
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

1940

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

Но это вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она всегда меня морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
Уже по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
[Как будто древний расторгая плен,]
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

1940

ЗАСТОЛЬНАЯ

Под узорной скатертью
Не видать стола.
Я стихам не матерью —
Мачехой была.
Эх, бумага белая,
Строчек ровный ряд !
Сколько раз глядела я,
Как они горят.
Сплетней изувечены,
Биты кистенем,
Мечены, мечены
Каторжным клеймом.

II

И вовсе я не пророчица,
Жизнь моя светла, как ручей.
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

(30-ые гг.)

С Новым Годом ! С новым горем !
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенки минул ?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба !
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых — не видать.

(январь 1940)

В лесу голосуют деревья.
Н.З.

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза, —
Опять, по слову твоему,
Я голосую за:
Тó, чтобы дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди... А дело в том,
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать
О тех, кто в ночь погиб.

(1940)

ПРИЧИТАНИЕ

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В земле не зарюю.
За версту обойду
Ленинградскую беду.
Я не взглядом, не намеком,
Я не словом, не попреком, —
Я земным поклоном
В поле зеленом
Помяну.

1944, Ленинград

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.

1937

В каждом древе распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово,
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.

1946

ПРОЛОГ

Не лирою влюбленного
Иду пленять народ —
Трещотка прокаженного
В моей руке поет.
Успеете наахаться
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Вас, смелых, от меня.
Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.

Все ушли, и никто не вернулся,
Только, верный обету любви,
Мой последний, лишь ты оглянулся,
Чтоб увидеть все небо в крови.
Дом был проклят, и проклято дело,
Тщетно песня звенела нежней,
И глаза я поднять не посмела
Перед страшной судьбою своей.
Осквернили пречистое слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слезки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня
И, до самого края доведши,
Почему-то оставили там.
Любо мне, городской сумасшедшей,
По предсмертным бродить площадям.

Другие уводят любимых, —
Я с завистью вслед не гляжу.
Одна на скамье подсудимых
Я скоро полвека сижу.
Вокруг пререканья и давка
И приторный запах чернил.
Такое придумывал Кафка
И Чарли изобразил.
И в тех пререканиях важных,
Как в цепких объятиях сна,
Все три поколения присяжных
Решили: виновна она.
Меняются лица конвоя,
В инфаркте шестой прокурор...
А где-то темнеет от зноя
Огромный небесный простор,
И полное прелести лето
Гуляет на том берегу...
Я это блаженное « где-то »
Представить себе не могу.
Я глохну от зычных проклятий,
Я ватник сносила дотла.
Неужто я всех виноватей
На этой планете была ?

Вижу я,
Лебедь тешится моя.
Пушкин

Ты напрасно мне под ноги мечешь
И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду.
Не притронусь я дулом к виску.
Смерть стоит все равно у порога,
Ты гони ее или зови,
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови.
А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Что ж, прощай! Я живу не в пустыне,
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни!
В остальном я сама разберусь.

Москва

Так не зря мы вместе бедовали,
Даже без надежды раз вздохнуть —
Присягнули — проголосовали
И спокойно продолжали путь.

Не за то, что чистой я осталась,
Словно перед Господом свеча,
Вместе с вами я в ногах валялась
У кровавой куклы палача.

Нет ! и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток,
Юг мне воздух очень скупно мерил,
Усмехаясь из-за бойких строк.
Но стоял как на коленях клевер,
Влажный месяц пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог.
В душной изнывала я истоме,
Задыхалась в смраде и крови,
Не могла я больше в этом доме...
Вот когда железная Суоми
Молвила: « Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи !

1964

СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ

включенных Анной Ахматовой в рукопись книги «Бег времени» и по разным причинам изъятых редакцией издательства «Советский Писатель»

«Три раза пытаться приходила»

«Я пришла тебя сменить, сестра»

«Думали: нищие мы»

Песня о песне («Она сначала обожжет»)

«Божий Ангел, зимним утром»

Побег («Нам бы только до взморья добраться»)

Июль 1914

1. «Пахнет гарью. Четыре недели»

2. «Можжевельника запах сладкий»

«Где, высокая, твой цыганенок»

«Долго шел через поля и села»

«Там тень моя осталась и тоскует»

«Я знаю, ты моя награда»

«Мне не надо счастья малого»

«О нет, я не тебя любила»

Петроград, 1919 («И мы забыли навсегда»)

Предсказание («Видел я тот венец златокованный»)

Другой голос

1. «Я с тобой, мой ангел, не лукавил»

2. «В тот давний год, когда зажглась любовь»

Черный сон

1. «Косноязычно славивший меня»

2. «Ты, всегда таинственный и новый»

3. «От любви твоей загадочной»

4. «Проплывают льдины звеня»

5. Третий Зачатьевский *)

6. «Тебе покорной? Ты сошел с ума»

«Ангел, три года хранивший меня»

«Страх, во тьме перебирая вещи»

«На пороге белом рая»

1. «Да, я любила их, те сборища ночные» *)

*) Осталось в книге.

2. « Соблазна не было. Соблазн в тиши живет »

3. « Не оттого ль, уйдя от легкости проклятой »

Отрывки из царскосельской поэмы « Русский Трианон »
(Девяностые годы)

« О, знала ль я, когда в одежде белой »

Многим (« Я — голос ваш, жар вашего дыханья »)

Стансы (« Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь »)

« Привольем пахнет дикий мед »

Из цикла « Юность » (« Мои молодые руки »)

Подвал памяти

« Так отлетают темные души »

Победителям (« Сзади Нарвские были ворота »)

Еще одно лирическое отступление (« Все небо в рыжих голубях »)

« Какая есть. Желаю вам другую »

« Что войны, что чума? — конец им виден скорый » **)

« В каждом древе распятый Господь » **)

« За такую скоморошину » **)

« И скупое оно, и богато » **)

« Если б все, кто помощи душевной »

Памяти поэта

1. « Умолк вчера неповторимый голос » *)

2. « Словно дочка слепого Эдипа »

Отдел « Поэмы » выглядел следующим образом :

Путем всея земли

Реквием

Поэма без героя

*) Осталось в книге.

**) Из « Вереницы четверостиший ».

АВТОБИОГРАФИЯ И ДВА ПИСЬМА
АННЫ АХМАТОВОЙ

МОЯ БИОГРАФИЯ

Я родилась 24 июня (в Иванову ночь) 1889 года в предместьи Одессы Большой Фонтан, дача Саракини. Отец мой — Андрей Антонович Горенко — был в это время инженер-механиком флота. Мать — Инна Эразмовна рожд. Стогова (в молодости в «Народной Воле»). Ее бабушка — кн. Ахматова, от которой идет мой псевдоним.

Через год после моего рожденья семья переехала в Царское Село, где я прожила до шестнадцати лет. Я научилась читать 7-ми лет. Училась в женской Мариинской гимназии. Попытка Смольного института. Почти ежегодно семья проводила лето под Севастополем близ Херсонеса. Языческое детство. (Гунгенбург — 2 лета).

Первое стихотворение я написала одиннадцати лет, оно называлось «Голос». Державина, Некрасова мама читала наизусть, Некрасов — чуть ли не единственная книга в доме. 24 февр. 1903 познакомилась с Н.С.Г.

Впервые напечаталась я в феврале 1907 г. в парижском журнале «Сириус» (подпись А.Г.).

В 1905 году мои родители разошлись, отец вышел в отставку, и мать со всеми детьми уехала в Евпаторию. (Бедность).

Учиться я продолжала дома, а для окончания гимназии переехала в Киев, где жила у моей кузины М.А. Змунчилла, и окончила киевскую Фундуклеевскую гимназию, после чего поступила на юридическое отделение Высших Женских Курсов.

В 1910 г. я вышла замуж за Н.С. Гумилева и вернулась в Царское Село. Весны 1910-11 годов я провела в Париже. Модильяни. В 1912 году путешествовала с мужем по Швейцарии и Италии. (1 окт. 1912 родился мой сын Лев).

С 1911 года я начала печататься в журналах и альманахах, в 1912 году вышел мой первый сборник стихов «Вечер» с предисловием М. Кузмина. Я была членом содружества поэтической молодежи «Цех Поэтов», где синдиками были Н.Г. и С.Г., и примкнула к зарождавшемуся тогда новому литературному течению, противопоставившему себя Символизму, — Акмеизму. (Н.В. Недоброво — Царскосельская идиллия).

В 1914 году вышел мой сборник «Четки» (9 изд.). Тогда же я написала поэму «У самого моря» (Херсонесские воспом.), вошедшую в третью книгу моих стихотворений «Белая стая». В 1915 г. заболела туберкулезом. Каждое лето с 11 по 17 гг. я проводила в имении моей свекрови А.И. Гумилевой.

В 1916 г. я переехала из Царского Села в Петербург. В августе 1918 г. развелась с Н.С.Г. и вышла замуж за В.К. Шилейко. В 1921 г. рассталась с Вл. Каз. Шилейко.

В 1921 г. вышел сборник «Подорожник» и в 1922 «Anno Domini». Последующие годы я занималась вопросами теории и истории литературы. Работала по установлению литературных источников некоторых произведений Пушкина. Две из моих работ по Пушкину были опубликованы — одна в журнале «Звезда» («Последняя сказка Пушкина», 1934 г. № 1), другая во «Временнике пушкинской комиссии» Академии Наук («Адольф» Бенджамена Констана в творчестве Пушкина», 1937 г. № 1).

В тридцатых годах вышла книжка моих переводов писем Рубенса.

В 1936 г. я отчего-то снова начала писать стихи, первым было « Борис Пастернак » — 19 янв. В 1940 г. я начала писать « Поэму без Героя ».

Отечественная война застала меня в Ленинграде. Во время блокады в конце сентября (28-го) я вылетела на самолете в Москву, а из Москвы в дни паники — 10-го поехала в Чистополь, а оттуда в Ташкент, где прожила два с половиною года, и первого июня 1944 года вернулась в Ленинград.

В годы Великой Отечественной Войны мои стихи печатались в газетах, журналах и альманахах Москвы, Ленинграда и Средней Азии. Эти стихи вскоре появятся в сборнике « Стихотворения » (1909-1945).

В 1945 г. я написала два цикла стихотворений : « Чинкве » и « Ленинградские элегии » и закончила « Поэму без героя ».

1946.
Москва

На целый ряд Ваших писем мне хочется ответить следующее.

Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит *).

Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут.

Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли.

Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас — я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замураванным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня, — но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы.

Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается — много садов и парков, под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает. Да и потом насколько приятнее *самому* констатировать «полное падение» (*chute complète*) поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись (включая друзей, см. Карамз.).

Между прочим (хотя это уже другая тема) я уве-

*) Так было уже один (а м.б. и не один) раз в 20-х годах, когда еще были живы мои читатели 10-х годов. Тогдашняя молодежь жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в честь ее топтала все кругом (всп. Гаспра, 1929). Тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена.

рена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть и т. д.

Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту — людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: Глаголом жги сердца людей — рифмованные строки вызывают скуку.

Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК'а), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже м. б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политич.) Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор — новатор *par excellence*. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Заболоцкий и, конечно, другие обереуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна пуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в лит. обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со мною расправиться, что не без грации делает напр. в своей антологии *Ripolino*. Не зная, что я пишу, не понимая в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама поняла это в 1922 и так далее.

Вот, примерно, все, что я хотела Вам сказать по этому поводу. Разумеется, у меня в запасе множество примеров, подтверждающих мои мысли. Впрочем Вам они едва ли интересны.

1960. 22 янв. — 29 февр.

Ленингр. — Москва

...Струве¹⁾ не подозревает, что после вечера Русского Современника в Москве в 1925 г. было первое постановление. Даже упоминание моего имени (без ругани) — было запрещено. Оно выброшено из всех перечислений — оно просто не существует. Г-ну Струве кажется мало, что я тогда достойно все вынесла, он, якобы занимаясь моей поэзией и издавая толстенный том моих стихов, предпочитает вещать: «Ее звезда закатилась», и бормочет что-то о новом рождении в 1940 г. Но почему же тогда «Четки» и «Белая стая», которые переписывали от руки и искали у букинистов, не находили себе издателя? Просто оттого, что книги находились в *index librorum prohibitorum*.

Двухтомник Гессена («Петроград», 1928) был запрещен [...]. Систематическая ругань (о которой г-н Струве умалчивает) началась примерно с Лелевича («На посту»). «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», — писал Перцов, и это самая приличная фраза из его статьи («Жизнь искусства», 1925). (Позднее [1946] про Сергиевского в Москве говорили: «Он себе из Ахматовой шубу сшил», как про дачу Плотника: «На ваших костях стоит»). Когда Осинский и Коллонтай попытались пикнуть, их немедленно умилили. Простые смертные не смели рот открыть. (Книга Виноградова шла как научная, «Образ Ахматовой» — как рукопись). Очень мило звучат критические статьи того времени. Например: «Критика и контрреволюция». Можно еще заглянуть в тогдашнюю «Литературную энциклопедию» (!?).

Всем этим [...] г-н Струве пренебрегает. Он говорит о тяжело больной (находит даже туберкулез брю-

(1) Глеб Петрович Струве, главный редактор зарубежного *Собрания сочинений А. Ахматовой*. Прим. составителей.

шины) женщине, которая чуть не каждый день читала о себе оскорбительные и уничтожающие отзывы и если бы не поддержка верного читателя, вероятно так или иначе погибла. Это были годы голода и самой черной нищеты. То странное «пособие», которое я получала, я делила между мамой и Левой и жила на несколько рублей в месяц. Это тогда знали все, знают и теперь.

Затем, как может не придти в голову г-ну Струве, что в то время я писала нечто, что не только печатать было нельзя, но даже читать т. н. «Друзьям»? (Таков был «Реквием»). Вот несколько таких стихотворений *) :

« Не мудрено, что похоронным звоном » («Лит. газ»)
Александрийские стихи («О лучше б ястребом», 20-е годы)

«Зачем вы отравили воду» (1935)

Эпиграммы (20-е годы)

«Пива светлого наварено» (1922)

«Не столицей европейской» (30-ые годы)

«Привольем пахнет дикий мед» (**) (30-ые годы)

Последний тост (1934)

Русский Трианон (сгорел)

«И ты мне все простишь» (20-е годы)

Морозова (30-ые годы)

Черепки (30-ые годы)

Подражание Армянскому

Стеклянный звонок

«И неоплаканною тенью» (20-ые годы)

«На стеклах нарастает лед» (30-ые годы)

«Что войны, что чума» («Лит. Газ.»)

«В том доме было очень страшно жить» (20-ые годы)
(полузабыла)

*) Стихи никогда не были записаны и оттого невозможно точно их датировать.

(**) И Мандельштам и Пастернак считали это одним из лучших моих стихотворений.

Стансы
Подвал памяти
Застольная

Итого [...]при беглом больничном [...]

Этот первый том производит впечатление последней корректуры, над которой еще надо серьезно поработать: перепутаны даты, развалилась целая поэма («Путем...»), нет цикла («Новоселье»), [...], все в чудовищных опечатках, никуда не годится расположение стихов.

1. «Закат»
2. «Одна звезда» (стр. 284)

не признаю своими.

Замеченные опечатки

1. В эпиграфе к «Дидоне»
2. В стихотворении «Зов» (стр. 330). Пропущена строка.
3. «Я не была здесь лет семьсот» — нет первой строфы.
4. «Если плещется» — неверная дата, 1940 вместо 1928 (1 декабря).
5. В стихах к Марине — не Мариинской башни, а *Маринкиной*.
6. Мелхола, оказывается — не хочет Давида.
7. «Нам встречи нет» — посвящение О.А. Г.-С., которого нигде нет.
8. Безобразно напечатано стихотворение «Угадаешь ты ее не сразу».

Если бы Струве дождался выхода «Бега», а не печатал куски из разных журналов, он понял бы, что существует маленькая поэма 1940 г. «Путем вся земля», что «Шаг времени» — случайное т. н. редакторское заглавие и к «Предъистории» никакого отношения не имеет, стихотворение «Зов» могло бы быть не изуродовано до бессмыслицы, по крайней мере II стихотворений не были бы забыты («Последний тост» 1934, [...], «А человек, который для меня», «И это будет для людей» 1964, последнее стихотворение

« Полночных стихов » 1965, « Вместо посвящения » в « Шиповник цветет », « Важно с девочками простились », « Ты пьян, и все равно... » из « Новоселья »...). Все это довольно существенно. [...]. Пропущено и последнее стихотворение цикла « Новоселье » « Как будто страшной песенки » (« Встреча »). Кроме того, пропущена моя Ташкентская « Смерть »: « А я уже стою на подступах... » и « Я была на краю чего-то »; а главное и самое непростительное — нету « Всем обещаньям вопреки ». [...] « Я голос ваш » (« Многим ») — было напечатано в журнальчике « Свирель Пана » — отсутствует. « И мы забыли навсегда »*, « Видел я тот венец златокованный » были в некоторых экземплярах Anno Domini (Берл.) — тоже нет. Все это узловые вещи.

* * *

Итак, при двух неизвестно чьих стихотворениях (« Закат » и « Одна звезда... ») не хватает 11-ти проверенных и одобренных автором стихотворений, всунуты стихи из старых журналов, отвергнутые автором для книг, из цикла « Новоселье » выпало заглавие и два стихотворения (второе и четвертое). « Полночные стихи » испорчены тем, что произошло с « Зовом » (выпала строка). Не надо было печатать и кусок « Поэмы без Героя », раз она вся идет во II томе. Что сделано с « Путем вся земли » — « неприятно и речь затевать », как говорил Некрасов. Еще неприятнее писать о Предисловии. С этого я начинаю мою критику и не буду повторяться.

(январь-февраль 1966 года. Боткинская больница)

*) « И мы забыли навсегда » — самое настоящее предсказание.

Лидия Чуковская

ИЗ КНИГИ « ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ »

I. ДНЕВНИК 50-х ГОДОВ.

II. РОССЫПЬ.

...Стихотворениям Анны Ахматовой свойственно еще одно качество: они легко запоминаемы. Объясняется ли это близостью их интонаций к устной разговорной речи? Или, напротив, привычной для уха классической величавой приподнятостью, в которую внезапно врываются ритмико-смысловые катастрофы? Или близостью к фольклору: к частушке, песне, пословице? Или, попросту, — оконченностью, завершенностью — свойством, присущим в жизни каждому движению самой Ахматовой? Как бы там ни было, поэзия ее многозначна и многосложна, и в то же время память несет груз этой сложности без усилий. Каждое стихотворение поражает новизною, но не успеешь поразиться, как оно уже стало частью тебя, ты его не только воспринял, усвоил, но как бы и присвоил. Начинает казаться, будто ты его сам сочинил.

« В последний раз мы встретились тогда
На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводнения в городе боялись », —

эти строки укладываются в памяти мгновенно. Их запоминаешь с такой же естественностью и непредвзятостью, как события собственной жизни.

Я принадлежу к тому поколению читателей, кото-

рые повторяли стихи из ахматовских книжек себе и друг другу, почти не нуждаясь в подсказке со стороны этих книг. Маленькие томики, испещренные карандашными крестиками и галочками (пометки означали, что вот эти стихотворения или строки изо всех любимых — наилюбимейшие), оставались лежать на столе, на стуле, на этажерке, под подушкой — «Четки», «Белая стая», «Anno Domini», «Подорожник», а стихи, усвоенные и присвоенные, сопровождали нас в трамваях, на уроках, на переменах, на улицах. Прочитав в книге :

« Далеко, в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек », —

или :

« Звенела музыка в саду
Таким невыразимым горем,
Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду », —

мы уже не желали с этими стихами расставаться и, не расставаясь, таскали их с собою в самом надежном кармане — у себя в памяти.

Во время войны, обращаясь к Ленинграду из Ташкента, Анна Ахматова вправе была сказать :

« Разлучение наше мнимо :
Я с тобою неразлучима », —

вправе прежде всего потому, что разлучаясь с ее книгами и с нею, читатели не разлучались с ее стихами — помнили их наизусть, носили в себе, с собою, — в осажденном Ленинграде, в эвакуации, в лагере или на фронте. (Я своими глазами видела стихотворе-

ние Ахматовой, выцарапанное на березовой коре : в пору возвращений и реабилитаций его привез в подарок автору один из бывших заключенных).

Чем бы ни объяснялось свойство ахматовских стихов запоминаться, но девочкой двенадцати лет, с легкостью запомнив поэму « У самого моря », я не подзревала, хранилищем каких еще кладов станет в будущем моя память.

Вероятно, видела я впервые Анну Андреевну в гостях у моего отца, Корнея Ивановича Чуковского, на даче в Куоккале (в Финляндии), куда приезжала она между 1912 и 1917 годами вместе с Николаем Степановичем Гумилевым; но тогда я была еще слишком мала и не расслышала ее молчания в шуме общих разговоров. Затем, если не ошибаюсь, в 1921 году, Корней Иванович привел меня однажды к ней : познакомиться. Анна Андреевна подарила мне книжку « У самого моря ». Затем я помню Ахматову на Блоковском вечере в « Доме Литераторов », на Бассейной. (Удивительно похож ее портрет начала двадцатых годов работы Анненкова). Она прочитала « А Смоленская нынче именинница » и быстро ушла.

Однако это все — предыстория. История, которую я со дня моего взрослого, самостоятельного знакомства с Анной Андреевной стала записывать час за часом и слово за словом, началась много позднее : с ноября 1938 года. Сначала мы встречались в Ленинграде, до войны, с осени 1938 по май 1941, когда я вынуждена была покинуть родной город; затем — во время войны, в Чистополе на Каме, куда в июле 1941 года, после тяжелой хирургической операции, меня с двумя детьми, дочерью и племянником, эвакуировали из Москвы; и затем — в Ташкенте, куда из Чистополя мы приехали вместе с Анной Андреевной и откуда уехали — порознь.

Как известно, Анну Ахматову на самолете в самом конце сентября 1941 года доставили из осажденного Ленинграда в Москву. Из Москвы, во второй половине

октября 1941 года она приехала ко мне в Чистополь и остановилась в снимаемой мною избе, на улице Розы Люксембург, 20. Родители мои в это время обосновались в Ташкенте; они хотели, чтобы я, вместе с детьми, переехала к ним. Анна Андреевна несколько дней колебалась: ехать ли ей со мной в Среднюю Азию или зимовать на Каме? Вопрос был сложный: немцы наступали по всем направлениям; Чистополь зимою, когда Кама замерзала, терял почти всякую связь с миром; к тому же над ним еще витала тень Марины Цветаевой, покончившей с собою полтора месяца назад, в соседнем городишке, в Елабуге. (Я познакомилась с Мариной Ивановной дней за 5 до ее гибели; теперь, из оконца избы, я показала Анне Андреевне дощечки, переброшенные через невылазную грязь, по которым на моих глазах с трудом прошла Марина Ивановна). Сообразить что-нибудь и дать совет было мудрено; предвидеть, куда свернет фронт — невозможно; одни, как и я, торопились уехать, пока не станет Кама, другие готовились к здешней крутой и долгой зиме. В конце концов Анна Андреевна решила ехать со мною, и мы вместе совершили путешествие, нелегкое по тем временам: сперва пароходом из Чистополя в Казань, а из Казани эшелоном через Семипалатинск, Барнаул, Алма-Ата — в Ташкент. « Нам показали очень много России » — сказала мне Анна Андреевна после недели пути. России — беженцев.

Следы этого путешествия сохранились в « Эпilogе » « Поэмы без героя ».

Первый :

« И уже предо мною прямо
Леденела и стыла Кама,
И « quo vadis ? » кто-то сказал,
Но не дал шевельнуть устами,
Как тоннелями и мостами
Загремел сумасшедший Урал », —

второй :

« Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток », —

а также в черновом наброске стихотворения « С грозных ли площадей Ленинграда » :

« ...воду изгнания
Я из рек великих пила.
Не такого с тобой свиданья
Я, Россия, всегда ждала ».

В Ташкенте первое время мы жили вместе в гостинице; потом расселились — Анна Андреевна переехала в общежитие писателей на улицу Карла Маркса, 7, а я сначала на улицу Гоголя, к отцу, а потом на улицу Жуковского, 54 — в дом, примечательный тем, что впоследствии, когда я уже там не жила, Ахматова переехала туда, в комнату, ранее занимаемую Еленой Сергеевной Булгаковой.

(« В этой горнице колдунья
До меня жила одна... »

и

« Как в трапезной — скамейки,
стол, окно... »

и

« Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской... »)

В Ташкенте, вплоть до декабря 1942 года, мы виделись чуть не ежедневно. Как и в ленинградские времена, когда я помогала Анне Андреевне держать корректуры сборника « Из шести книг » и некоторых журнальных публикаций, мне и в Ташкенте доводилось заниматься ее корректурами, отбором стихов для

книги, для журналов, для выступлений в госпиталях — печатались они или нет, неизбежно запоминать их.

В Ташкенте же, осенью 1942 года, Анна Андреевна подарила мне тетрадку, исписанную карандашом ее рукою: один из самых ранних, если не самый ранний, вариант «Поэмы без героя». (Первоначальные наброски «Поэмы» я слушала еще в Ленинграде).

После декабря 1942 года общение мое с Анной Андреевной оборвалось, и надолго: на целые десять лет. Возобновилось оно лишь в 1952 году, в Москве, и длилось до самой кончины Анны Андреевны.

Мои попытки вернуться домой, в Ленинград, после его освобождения в 1944 году, успехом не увенчались, и я навсегда осталась в Москве. Ахматова же попрежнему жила в Ленинграде; но при этом месяцами гостила в Москве, у друзей, кочуя из одного дома в другой, а чаще всего, продолжительнее всего, гостя «У Ардовых, на Ордынке», в семье своей близкой приятельницы, Нины Антоновны Ольшевской, жены В.Е. Ардова. «На Ордынку, к Ардовым», заново знакомиться с Анной Андреевной, 13 июня 1952 года я и пришла.

Зимой 1963-64 гг. мне выпало счастье в последний раз исполнить литературную просьбу Анны Андреевны: помочь ей в составлении сборника «Бег времени». Когда книга вышла из печати, Анна Андреевна подарила ее мне с фантастически-щедрой надписью, характеризующей, разумеется, не мое скромное участие в отборе стихов, а лишь присущее Ахматовой редкостное и высокое чувство благодарности. На титульном листе «Бега времени» она написала:

«Лидии Чуковской — мои стихи, ставшие нашей общей книгой — дружески Ахматова 7 октября 1965 Москва».

Эта книга, безусловно самый полный из всех ахматовских сборников, к сожалению дошла до читателей не совсем в том виде, в каком она была задумана и составлена автором. Некоторые стихи, печатавшиеся

много раз и еще не печатавшиеся совсем, оказались « в процессе прохождения » изъятыми — и, повидимому, без серьезных оснований, потому что большинство « новых » — то есть не печатавшихся ранее, вскоре после смерти Ахматовой появились на страницах наших журналов. (« Мои молодые руки », « Подвал памяти », « Привольем пахнет дикий мед », « Подражание армянскому » и пр.). Но главный урон, нанесенный « Бегу времени », таков : из « Поэмы без героя » опубликована всего лишь первая часть, а « Реквием » представлен двумя отрывками, да еще и без указания, откуда они.

Ахматова считала свой « Реквием » поэмой и соответственно включила его в специальный отдел, озаглавленный « Поэмы » : « Путем всяя земли », « Реквием », « Поэма без героя ». Но в вышедшей книге такого отдела нет. Целиком (с небольшими искажениями) напечатана одна только поэма : « Путем всяя земли ».

У произведений Ахматовой судьба вообще особая, у « Реквиема » же — вопиющая.

« Реквием » целые годы хранился лишь в памяти автора и тех немногих друзей, чьей памяти автор пожелал доверить его. « Реквием » создавался Ахматовой преимущественно в 1938, 1939 и 1940 годах, а записан был ею только в 1962, после XXII Съезда, когда всем, и даже ей, на минуту представилось, будто со Сталиным и сталинщиной покончено. Тогда она — впервые ! — доверила « Реквием » бумаге и предложила редакции. Но и тогда, на взлете разоблачений, поэма, посвященная памяти жертв, не была напечатана.

« Перед этим горем гнутся горы.
Не течет суровая река.
Но крепки тюремные затворы,
А за ними — каторжные норы
И смертельная тоска ».

(Горы гнутся и души гнутся. Слово поэта разогнуло бы миллионы осиротелых душ. Но ему не дано прозвучать до сих пор).

Я начала встречаться с Анной Ахматовой как раз в ту пору, когда она писала «Реквием». Или, что гораздо страшнее, как раз в ту пору, когда она его не писала. Остерегалась записывать. Остерегалась даже произносить вслух.

« Ах, бумага белая,
Строчек ровный ряд.
Сколько раз глядела я,
Как они горят ».

И я вместе с нею много раз видела, « как они горят ».

Она внезапно умолкала посреди разговора. Затем, предостерегающе показав глазами на потолок, произносила какую-нибудь нарочито светскую фразу — и я отвечала ей тем же. Потом она брала клочок бумаги и на минуту записывала очередное стихотворение. (Как и «Двенадцать» Александра Блока, ахматовский «Реквием» — поэма, состоящая из цепи отдельных стихотворений). Передавала клочок мне. Я прочитывала убегающие вверх и вправо, все выше и все правее, карандашные строки. Запоминала их с первого или со второго чтения. Отдавала клочок обратно. Анна Андреевна, чиркнув спичкой над пепельницей, подставляла бумагу огню — и через несколько секунд от стихотворения оставалась одна лишь сухая, легкая, черная горсточка пепла.

Наступали минуты тягостные.

Только что совершено было злое дело. Точно мы вместе только что удушили новорожденного.

Мы продолжали разговор, не глядя друг другу в глаза.

Когда я уходила, терзания мои продолжались.

Забывать «Реквием», хотя бы строку из него, было

бы с моей стороны предательством (1). Записать же его — хуже, чем предательством: окаянством. Я и так была истерзана сознанием, что втайне от Анны Андреевны, находясь в обстоятельствах, не дававших мне на это ни малейшего права, аккуратно записываю ее слова. Не стихи — разговоры. Монологи. Реплики. Чтобы они не утратились, не исчезли навек.

(При этом должна сразу сказать, что не было в наших разговорах ровно ничего криминального. Речь шла по большей части о литературе; Анна Андреевна читала мне стихи — Анненского, Хлебникова, свои; рассказывала о Блоке, Вячеславе Иванове, Кузмине, Розанове, Замятине, Ларисе Рейснер, Маяковском, Пастернаке, Мандельштаме, говорила о Пушкине, Достоевском, Толстом, Некрасове. Но она не верила, отказывалась верить, что люди, которых в эти годы в газетах и на собраниях именовали «врагами народа», которых с бюрократическим бесстрашием истязали и расстреливали в застенках, были и в самом деле «врагами». Больше того: она не могла вообразить себе и всегда отрицала наличие в обществе таких граждан, которые способны искренне, чистосердечно, бескорыстно верить в кровавую басню. Она-то знала неколебимо и твердо, что терзаниям подвергаются — неповинные. Вот где был криминал из криминалов, таилась крамола из крамол. Вот что явственно отражалось в ее речах — и, хотя и прикровенно, в моих записях).

Я не держала свои записи дома. Но когда в городе — и во всей стране! — идет методическая, и в то же время безумная, полная случайностей, облава на миллионы людей — как угадаешь, чья квартира надежней? Кто первым отправится в Магадан, кто вторым? Когда унести из дому свои тетрадки, когда взять их обратно домой? Я отдавала, брала, переносила с места

(1) В 1962 году Анна Андреевна сказала мне, что, кроме меня, «Реквием» знали наизусть еще семь человек.

на место, вырывала страницы, зашифровывала намеки. Прекращала писание. Не могла не писать.

Не могла потому, что, кроме интенсивности, разнообразия, самобытности открывающейся передо мной духовной жизни, с первой же нашей встречи меня поразило, в какой степени речения Ахматовой лаконичны, отточены, художественно совершенны. Как они близки ее стихам. В них, можно сказать, так же, как в ее стихах, зрели, если воспользоваться определением Пастернака, «прозы пристальной крупницы»; ее устная речь — это тоже своего рода проза поэта.

После каждой нашей встречи я пыталась с точностью донести до бумаги не только содержание сегодняшнего разговора. Я пыталась закрепить, сохранить драгоценные «крупницы прозы», столь щедро рассыпаемые передо мною.

Мои записи составят когда-нибудь целый том: «1938-1966». Здесь же я предлагаю вниманию читателей всего лишь отрывки, да и то сокращенные. Они относятся преимущественно к пятидесятым годам, то есть к эпохе, наступившей через 20 лет после «Реквиема». Однако, год, когда началось наше общение — 1938 — время, пережитое вместе, наложили свой отпечаток на все последующие встречи и разговоры до войны, во время войны и после. Записан был «Реквием» или нет, напечатан или нет, звуки его всегда жили в моих ушах. Я постоянно слышала их, о чем бы Анна Андреевна ни говорила, но с особенной ответственностью — когда наступало молчание.

ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

13 июня 1952

Арка второго двора дома с решеткой на Большой Ордынке. Лужа под аркой от стены до стены. Развороченная черная лестница : ребра торчат. Ступаю осторожно. Второй этаж. Здесь.

Звонок надо дернуть.

Мы не виделись десять лет. Я медлю. Потом дергаю.

Анна Андреевна сама открывает мне дверь. Пожимает мою руку, сразу поворачивается и идет вперед.

Разительно новое : яркая сплошная седина. И отяжеленность, грузность. Она стала большая, широкая.

Я иду за ней. Прямо, направо и еще раз направо.

Крохотная комнатуха, пожалуй, даже меньше, чем моя. Окно во двор. Некое подобие тахты и постель на этом подобии занимает все пространство. Впрочем есть еще школьный столик для уроков и стул, которому тесно. Тумбочка.

И вот мы сидим друг против друга, я на стуле, она на постели. Она сидит очень прямо, в белой шали и желтом ожерелье, только чуть-чуть опираясь о постель ладонями, глядя на меня снизу и как будто искоса. Наверное ей так же трудно привыкать ко мне новой, как и мне к ней.

Вот оно, значит, что : горе, годы, болезнь. Совсем другая, не та. Расплылась, отяжелела. Лицо полное, рот кажется маленьким между полных щек. Лицо утратило свою четкую очерченность, свою резкую горбоносость, словно и нос сделался меньше и неопределеннее, чем был. Даже руки переменились : огрубели, набухли. А были такие легкие, детские ! Десять лет ! Только взгляд остался прежний. И голос.

И молчание. Она привольно молчит, поглядывая то в окно, то на меня. (Серебряная, густая, ровная

челка. Ни одного не седого волоса). Я же от смущения задаю ей вопросы. Слишком много вопросов сразу. Как ее здоровье теперь? Что известно о Леве? (1) Что она теперь переводит?

— Мое здоровье? В Болшеве (2) я так окрепла после болезни, что, вернувшись в Москву, от избытка сил сразу поехала смотреть Коломенское. Ничего похожего я в жизни не видывала, это прекраснее Notre-Dame de Paris. Я целую неделю просто бредила Коломенским. Это неслыханно. Это должен видеть каждый и притом каждый день.

Смолкла. Потрогала ожерелье на шее.

Я осведомилась, была ли она на выставке Серова.

— Нет, не была, хотя меня и звал Борис Леонидович (3). Я не люблю Серова. Вот, принято говорить про портрет Орловой: «портрет аристократизма». Спасибо! Какой там аристократизм! Известная петербургская великосветская шляха. — Она отвернулась и возмущенно поглядела в окно. — Этот пустой стул с тонкими золочеными ножками, как на приеме у зубного врача! Эта шляпа! Нет, благодарю!

Умолкла.

Странная вещь: слушая ее речи, я опять узнала ее. Ее прежнюю наружность. Не интонации только,

(1) Лева — Лев Николаевич Гумилев, сын Гумилева и Ахматовой; востоковед, специалист по истории народов Центральной Азии. (Главный труд: «Хунну. Срединная Азия в древние времена». Изд-ство Восточной литературы, М., 1960). Был арестован в 1935 году, но вскоре, после письма Ахматовой к Сталину, освобожден; снова арестован в 1938 году; в 1944 году, из ссылки в Туруханском крае (куда он был отправлен после заключения в лагере) ушел добровольно на фронт; снова арестован в 1949 году, освобожден и реабилитирован лишь в 1956.

(2) Болшево — дачная местность под Москвой, где помещается санаторий Академии Наук со специальным корпусом для сердечно-больных. Летом 1951 года А.А. перенесла первый инфаркт миокарда; летом 1952 отдыхала и лечилась в Болшеве.

(3) Борис Леонидович — Пастернак.

или возмущенный поворот плеч, или слова. Я и не заметила, в какую секунду был возвращен мне весь ее привычный прежний облик. Десяти лет как не бывало, она, оказывается, не переменялась совсем. Горбатый нос, статность, челка, молчание. Такая же, как в моей комнате, у Пяти Углов, в Ленинграде, или у себя в Фонтанном Доме, или в моей чистопольской избе, или в Ташкенте. Такая же или, точнее, та же. Вне времени, болезней, горя. Анна Ахматова, она сама.

Анна Андреевна расспросила меня о Люше, о Корнее Ивановиче, о моей теперешней работе. Помолчав, прочитала наизусть строки из последнего Левиного письма. Потом повела пить чай в столовую — большую красивую комнату со старинной мебелью.

В доме, видно, кроме нас никого. Пьем чай в тишине пустой большой квартиры.

— Мне хочется рассказать вам о «Шинели», — говорит Анна Андреевна. Она сидит на диване, раскинув руки, и этот старинный диван с высокой красной спинкой очень идет ей, или она ему. — Я, как и все граждане, читала в этом году Гоголя. «Шинели» не трогала: боялась, очень уж буду жалеть Акакия Акакиевича. Но ко мне пришел Журавлев (1) и прочел ее вслух. Тогда я и сама ее перечла. И обнаружила, что это шкатулка с двойным дном... Жалеть Акакия Акакиевича нечего, у Гоголя тут была совсем другая мысль: николаевский режим уничтожил в нем человека. Акакий уже почти что и не человек. И бумагу чуть-чуть посложнее составить не может, и перышки чинит. За что мне его жалеть? Что у него шинель старая? А я и сама четвертую зиму хожу в осеннем. Вот Евгения из «Медного Всадника», того можно жалеть: он, хоть и глуп, но готов пожертвовать жизнью

(1) Дмитрий Николаевич Журавлев — артист, «мастер художественного слова»; в его репертуаре произведения русской и западно-европейской поэзии и прозы: Пушкин, Гоголь, Блок, Маяковский, Ахматова, Меримэ, Мопассан и др.

ради любимой женщины и на Петра восстает... Он человек, а гоголевский Акакий уж полное ничтожество. Но дело не в них, а я, представьте, сделала маленькое открытие: я поняла, что «значительное лицо» в «Шинели» — это не кто иной, как Александр Христофорович Бенкендорф, собственною своею персоною. Все совпадает, каждая черточка: и видимость доброты, и наружность, и бабник он отчаянный.

Я сказала, что завтра же непременно перечту «Шинель». Анна Андреевна заговорила о Гоголе, о его дружбе со Смирновой. Я сказала, что Гоголь как человек, как личность, непредставим для меня.

— Не только для нас. Представить себе Гоголя никто не может. Тут все непонятно, от начала и до конца. Из отдельных черт ничего не складывается. Даже Лермонтова легче вообразить себе: гусар, нахал... А Гоголя — ни за что. И никогда не поймут... А знаете, я догадалась, почему он со Смирной дружил: оба они без памяти любили Украину.

Она спросила, что я сейчас читаю? Когда я ответила «дневники Толстого подряд», разговор перешел на Толстого и Достоевского.

— Мы, модернисты, — сказала Анна Андреевна — ошибались, противопоставляя их друг другу. В действительности они похожи и делали одно дело, только один внутри церковной ограды, другой во вне. (От старца Зосимы, впрочем, монахи тоже в ужасе были). Оба они — великие учителя морали и оба пеклись об одном... А вы заметили, — спросила она, помолчав, и лицо ее мгновенно дрогнуло и переменилось, всё, от подбородка до челки, словно скомкалось, и эта молния, которой я не ожидала, которая внезапно, без всякой подготовки и постепенности, настигла ее лицо, оказалась озорной, прелестной, забытой мною улыбкой — вы заметили, что сегодня я обращаюсь с вами, как некогда Зайцева в Ташкенте со мной? Помните? История и история литературы? Вы помните ее первый визит?

Скоропостижная улыбка миновала, а я все еще смеялась. Я вспомнила.

(Зайцева просила меня представить ее Ахматовой. Анна Андреевна разрешила. В назначенный час новая гостья поднималась вместе со мною по лестнице вдоль наружной стены в общежитии писателей на улице Карла Маркса, 7. На каждой ступеньке Зайцева объясняла мне, как она любит Ахматову. На площадке объяснила, что от волнения не откроет рта. Когда я постучала в дверь, она перекрестилась. Поздоровавшись, села и замолчала словно каменная. Хозяйке едва удавалось извлекать из нее «да» и «нет». Наконец, Анна Андреевна спросила у Клавдии Васильевны, над чем она сейчас работает. Тогда в Зайцевой — наверное тоже от смущения! — проснулся историк, доктор наук, профессор: она открыла рот и не закрывала его 50 минут, полный академический час; по новонайденным материалам прочитала нам лекцию об одном из первомартовцев. Кончив, встала, объявила, что ей пора, простилась и вышла. «Я вижу, меня из этого города без высшего образования не выпустят», сказала мне Анна Андреевна, когда за гостьей закрылась дверь).

Впоследствии знакомство между Ахматовой и Зайцевой наладилось, упрочилось, они, помнится, бывали друг у друга, но первая встреча была вот такая.

Я смеялась.

— Вы не пугайтесь, — сказала мне серьезным голосом Анна Андреевна. — Гоголь, Зайцева, Толстой, Достоевский... Это я только для первого раза. В следующий раз такого не будет.

Я спросила, нравится ли ей Гюго, которого она сейчас переводит.

— Ах, так вам еще нехватает Гюго... Пожалуйста: плох необыкновенно. Напыщен, трескуч, риторичен.

— А сами-то французы его любят?

— Да. Очень. Когда у одного француза спросили, кто лучший поэт Франции, он ответил: «Victor Hugo,

hélas ! » И это, разумеется, не соответствует истине : взять, хотя бы, Верлена, он в двадцать раз лучше.

Мы вернулись в маленькую комнату, где Анна Андреевна чувствовала себя, мне показалось, более дома. Тут она стала рассказывать мне о Борисе Леонидовиче и, как и в прежние годы, говорила о нем с восхищением и в то же время с какой-то нежной насмешливостью. С восхищением — понятно, речь ведь идет о чуде; с нежностью — потому что о друге; а с насмешливостью, я так понимаю, потому что в насмешке легче спрятать нежность.

— Он вам никогда не рассказывал, как впервые видел Толстого ? Нет ? Бореньке было три года. Он спал. И вдруг проснулся у себя в кроватке, разбуженный дивной музыкой. Слушал, слушал и заплакал. Вылез из кровати и заглянул в соседнюю комнату : мать за роялем, а рядом сидит старик, слушает музыку и плачет. Это был Толстой. Молодец Борька, знал, когда проснуться, не правда ли ?

Я попрощалась. Анна Андреевна, помня мою близорукость, вышла со мною на площадку и подробно объяснила, какие ступени на лестнице самые коварно-косые. Пока я шла вниз, она отяла на площадке, опершись о перила.

— Теперь вам осталась только Вечная Лужа, — сказала она, когда я добралась до низу. — Держитесь правой стенки. Спокойной ночи.

1 августа 1952

На днях вечером, вернувшись из Ленинской библиотеки, я нашла у себя на бюро записку от Корнея Ивановича :

« Тебе звонила Ахматова и просила позвонить ».

В тот же вечер я была у нее.

Анна Андреевна неподвижно лежит на спине, вытянув руки вдоль тела. Сердце. Не звонила она мне

долгое время потому, что жила у Шервинских (1) в Песках. Там чувствовала себя хорошо, а здесь, в Москве, ее мучает жара.

— У Чехова... которого, как вы помните, я не люблю... — начала она — есть один рассказ... про мальчика Егорушку. Его куда-то везут. Очень долго везут.

— « Степь » — сказала я, насторожившись. (Чехов — наш постоянный старый спор).

— Да, « Степь ». По-моему это очерк, но почему-то называется рассказ или даже повесть. Так вот, там описана жара, пыль, а потом говорится, что вдруг в жаре будто ниточка прохлады протянулась... Цимлянское море (2) — как раз в тех местах, можете себе представить, какая там теперь прохлада!

Спор не возобновился. Пусть очерк. Речь шла не о Чехове, а о жаре.

В комнате было душно как в шкафу. Я предложила открыть окно.

— Нельзя. Играют.

Я все таки приоткрыла на секунду одну половинку и выглянула. Под самым окном пенсионеры на лавочке с бешеной бранью забивали козла.

Анна Андреевна, стараясь двигаться как можно осторожнее, достала из-под подушки сумку, из сумки листок и прочитала мне подстрочник одного маленького стихотворения. Якутский поэт. О тайге.

— Слышите — какая наивность, сила... А остальные у него кажется плохи.

Потом прочитала уже готовый свой перевод из

(1) Сергей Васильевич Шервинский — поэт, стиховед, переводчик; он и его семья не раз оказывали гостеприимство А.А. в Москве и у себя на даче под Коломной.

(2) Цимлянское водохранилище — « часть Волго-Донского судоходного канала имени В.И. Ленина; образовалось в 1952 году в результате подпора Дона ».

Гюго. Восточное любовное прощание. Александрийский стих, великолепная, мощная поступь стиха, все как следует — но боже мой, какое пустозвонство! Рассудочно, холодно, пышно — не для меня. И главное, не для нее.

Прочла наизусть перевод маленького стихотворения Нерис, — трогательного, пожалуй.

— У Саломеи, может быть, встречаются стихи и с длинными строчками, — объяснила Анна Андреевна — но мне не повезло, попались все с короткими, а это очень трудно.

Наступило очередное долгое молчание. Я рискнула попросить ее прочесть чтонибудь свое.

— В другой раз, — ответила она. — Я не люблю читать свое вместе с переводами. В другой раз буду вам читать целый вечер.

Рассказала, что один молодой человек, с которым она поделилась своей догадкой о Бенкендорфе в «Шинели», взял да и вставил эту новость в свою работу.

— И, подумайте, пришел ко мне и сам же прочел! Быть может, по молодости лет, он просто не знает, что излагать в своих работах чужие мысли не принято? Статья его скоро идет в печать.

Я предложила напустить на молодого человека кого-нибудь из старых, чтобы те ему объяснили. Но Анна Андреевна не согласилась.

— Ну, нет, я так не работаю. А то, знаете, есть такая игрушка: кажется, будто обыкновенный пень, а подойдешь поближе — оттуда выскакивает страшная сова.

С трудом, медленно повернувшись на бок, она протянула руку к тумбочке и взяла однотомник Пушкина. Поискала там какое-то стихотворение, устала, не нашла, и велела искать мне: 1830 год, неоконченный отрывок, во второй половине брусника, тундра, остров. Я нашла. Она попросила прочесть его вслух. Начинается строчками:

Когда порой воспоминанье
Грызет мне сердце в тишине
И отдаленное страданье
Как тень опять бежит ко мне —

а во второй половине :

...Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там
Печальный остров — берег дикой
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Сюда порою приплывает
Отважный северный рыбак,
Здесь невод мокрый расстилает
И свой разводит он очаг.
Сюда погода волновая
Заносит утлый мой челнок.

.

Анна Андреевна убеждена, что в этом неоконченном отрывке речь идет о могиле декабристов. Набросок был найден, как ей сообщил Томашевский, среди черновиков «Онегина», и, хотя это не онегинская строфа, она полагает, что место отрывку в «Путешествии Онегина» или в X главе.

Разумеется, я ничего не могла сказать — Онегин не Онегин, Путешествие или X глава — но несомненная верность основной догадки сразу поразила меня. «Печальный остров — берег дикой» — да, за звуками этих пустынных слов — одиночество и могила, а

«отдаленное страдание» это его память «о тех, кто в ночь погиб» (1).

Память и темное чувство вины.

Ахматова не рукопись пушкинскую расшифровала, а силою родства биографии вспомнила вместе с ним то, что и он, и она всегда носили в душе — казнь близких — и потому ясно увидела недописанное: запретную, пустынную могилу на диком берегу. Она не стихи дописала, а пошла следом за тем душевным движением, от которого стихи родились, доверилась звуку предстиховой тишины и он повел ее точной дорогой: дорогой пушкинской памяти, которая казнью декабристов была ранена навсегда (2).

Я попыталась высказать все это ей, но не успела. В дверь постучали. Вошла пожилая, неряшливо раскрашенная женщина, с соломенными волосами, уже почерневшими у корней. Анна Андреевна поднялась, накинула шаль и учтиво приветствовала гостью. Это оказалась редакторша, принесящая ей для перевода норвежские стихи. Подстрочники. Я притащила из кухни для нее табуретку, Анна Андреевна величаво опустила на стул, я устроилась в углу постели.

Из разговора мне сделалось понятно, что норвежец в нынешнем году празднует свое пятидесятилетие, книжку его у нас выпускают молнией и по всему по этому Ахматова должна переводить «в срочном порядке» (3).

— Вам, с вашей высокой техникой, это не составит труда, — объясняла редакторша. — Я выбрала для вас самые разные... Я уверена, вам понравятся...

(1) Строка из стихотворения Ахматовой «И вот, наперекор тому»...

(2) Свое предположение (в 1963 г.) А.А. высказала в статье «Пушкин и Невское взморье»; статья опубликована посмертно — см. «Литературная Газета», 4 июня 1969 г.

(3) Речь шла о переводах из Нурдаля Грига — см. «Избранное», М., Гослит, 1953.

Вы будете довольны... Я придерживалась вашего вкуса...

(Словно речь идет о материи на платье и продавщица подбирает подходящие цвета для дамы-покупательницы !)

Анна Андревна внимательно прочитала подстрочки один за другим. Потом попросила редакторшу указать возле каждого стихотворения, какой где размер.

Редакторша заметалась.

— Я не умею... я недостаточно овладела теорией... я недавно этим занимаюсь... я замещаю.

Анна Андревна сняла очки, аккуратно собрала подстрочки и уложила их в сумку. Потом спросила у редакторши, когда договор. О договоре та знала столько же, сколько о размерах.

Анна Андреевна смолкла, явно ожидая, когда посетительница уйдет. На лице у нее было сложное выражение. Я бы назвала его — оледенелый гнев.

Редакторша поднялась, я проводила ее в переднюю и заперла за нею дверь.

Когда я вернулась, Анна Андреевна уже снова лежала на спине, широкая, на своей неширокой постели.

— А помните, — спросила я, — очень давно, в Ленинграде, вы говорили, что никогда не станете переводить ?

— Да, помню. — И, медленным голосом : — Теперь то мне уже все равно, а в творческий период поэту конечно переводить нельзя. Это то же самое, что есть свой мозг.

31 августа 1952

Несколько дней назад я забежала на минуточку к Анне Андреевне.

Она с распушенными волосами, только что после ванны.

Вернулась из Крыма Нина Антоновна — веселая, энергичная, красивая, загар как шоколад. Мне показалось, Анна Андреевна тоже повеселела.

Нина Антоновна командует ею с заботливой свирепостью :

— Не сидите после ванны так близко от окна. Пересядьте, дуэт.

— Вы надели не то ожерелье. Сейчас подам другое. Не ленитесь, наденьте.

— М-ме, вы забыли, что вам до конца жизни запрещена ветчина.

Анна Андреевна слушается кротко и радостно.

4 сентября 1952

Вчера я была у Анны Андреевны.

Она показала мне экземпляр своей книжки — той, уничтоженной. Ей ее подарил Сурков (1). Построен сборник так же, как и « Из шести книг »; есть и новый отдел : « Нечет », на который я сразу накинулась. Но Анна Андреевна вынула у меня книгу из рук, заявив, что ей скучно так сидеть : « лучше я расскажу вам о Пушкине ».

Она по-своему анализирует обстоятельства, приведшие к дуэли. Исходит она из того, что роман Дантеса с Натальей Николаевной длился не 2 года, как принято полагать, а всего полгода.

Пушкин угадал автора анонимных писем — Геккерн — и убедил в его авторстве Бенкендорфа и царя; но на этом удачи его наступления кончились. Женитьба на Екатерине Гончаровой, к которой Пушкин пригласил Дантеса, на самом деле вполне устраивала жениха, потому что Наталию Николаевну он уже не

(1) Речь идет о книге, уже подписанной к печати в 1946 году и уничтоженной после Постановления ЦК о журналах « Звезда » и « Ленинград ». Повидимому, несколько экземпляров все-таки сохранились и один оказался у А.А. Суркова.

любил, а женитьба на девушке хорошей фамилии была ему необходима. Геккери и Дантес, в противовес пушкинской, создали собственную версию этой женитьбы: Дантес, мол, героически женится на Екатерине Гончаровой во имя своей высокой страсти к Наталии Николаевне: чтобы быть поближе к любимой женщине. Этой версией они уничтожали пушкинскую, для Дантеса позорную.

Говорила Анна Андреевна с большой горячностью.

— Пушкин, который даже Музу свою не подпускал к своему семейному очагу! и вдруг царь унтер-офицерскими лапами лезет в его семейную жизнь и делает замечание Наталии Николаевне, «предостерегая ее отечески»! Мог ли он это перенести?

Любовную связь Пушкина с Александриной Гончаровой Ахматова отвергает решительно.

Рассказала мне также о дневнике Александрины, найденном в Австрии во время войны.

Из него явствует, что Наталия Николаевна виделась с Дантесом, уже сделавшись Ланской.

— Конечно, она в ту пору была уже старая толстая бабища, так что никакие зефиры и амуры тут не при чем. Ей просто захотелось дружески побеседовать с человеком, который убил ее мужа и оставил сиротами ее четверых детей.

Я спросила, прочитала ли Анна Андреевна «Грибоедова и декабристов» Нечкиной — книгу, которая мне кажется очень интересной, хотя Тамара Григорьевна (1) и говорит, что это собственно целый том одного лишь «и»: Грибоедова в книге нет, декабристов тоже нет, а на сотни страниц тянутся обоснования для «и».

(1) Тамара Григорьевна — Габбе, мой большой друг, знакомая А.А.; фольклорист, автор пьес для детей, редактор. В Ленинграде, в 1940 году, Тамара Григорьевна помогала мне держать корректуры сборника А.А. «Из шести книг» и была одной из первых слушательниц «Поэмы без героя».

— Тамара Григорьевна права, — ответила Анна Андреевна — но дело обстоит еще хуже : какой длины ни тянулось бы «и», я все равно не верю, что Грибоедов был декабристом. Его дальнейшая карьера опровергает такое предположение. Они никогда не позволили бы ему сделаться блестящим дипломатом, если бы он принадлежал к тайному обществу... Вспомните, какую жизнь они устроили Катенину.

Почему-то — не помню уже почему — мы заговорили о грубости. Анна Андреевна сказала, что единственное место, где с ней неуклонно и постоянно грубы — это Ленинградское отделение издательства «Советский писатель».

— Грубость апокалипсическая ! Секретарша называет меня Анной Михайловной. Я звоню раз в месяц, а она кричит так, будто я сегодня уже шесть раз звонила. Эта баба прислала мне письмо с надписью на конверте : « А. Ахматовой ». Я этот конверт храню... А в других местах, всюду, в Гослите здесь и в Гослите в Ленинграде, в Советском Писателе здесь — всюду со мной безусловно предупредительны и вежливы.

Она осведомилась, как идут мои хлопоты об Эмме Григорьевне; я доложила; она вникала во все подробности. Я сказала, что не могу быть уверена в удаче, но попытки буду продолжать.

— Только бы удалось ! — сказала Анна Андреевна со вздохом. И добавила :

— Вы заметили ? Делать зло легко, оно удастся всегда, а вот сделать хоть что-нибудь доброе очень трудно. Одна дама уверяла меня, что напротив делать добро легко, но я думаю, она просто не пробовала. Как вы полагаете ?

29 декабря 1952

Сегодня по телефону светлый голос Ахматовой.

— Что не приходите ?... А я сейчас еду в больницу, к Борису Леонидовичу. Что ему от вас передать ?

Мы условились повидаться во вторник, то есть завтра.

31 декабря 1952

Вчера была на Ордынке.

Нина Антоновна украшает елку. На диване, рядом с Анной Андреевной, собака Лапка, непонятной породы и загадочного нрава. Внезапно, вдруг, безо всякой видимой причины, среди разговора, взлаивает и даже кидается.

Анна Андреевна за чаем рассказала о Борисе Леонидовиче :

— Он сильно напуган болезнью. После больницы едет с Зинаидой Николаевной в Узкое. Какой красивый стал ! Ему переменяли передние зубы. Конечно, лошадиность придавала лицу своеобразие, но так гораздо лучше. Бледный, красивый, голова большого благородства.

Увела меня к себе и прочитала куски из I и II акта «Марьон Делорм». Говорит, что Гюго исказил историческую Марьон и что в этом искажении есть нечто безнравственное.

Потом сказала :

— Драматическую можно переводить, прозу тоже, но в переводы лирических стихов я не верю.

И тут я спросила : « а вы сейчас пишете свое ? » Я еще не успела окончить фразу, как мне стыдно стало за свою жестокость и глупость.

Но Анна Андреевна ответила спокойно, с достоинством :

— Конечно, нет. Переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты... Какие стихи, что вы !

Заговорили о переводах Бориса Леонидовича.

— Замечательны у него «Хроники», — сказала Анна Андреевна. — Я сличала. И «Макбет». Я подлинник почти целиком наизусть знаю. Перевод очень точный.

— А « Фауст » ?

— Пестро. Начало, где ангелы поют, лучше, чем у Гете. Но вот Маргарита иногда у него грубее, чем надо. У Гете она девочка. Примеряя убор, говорит : « Ах, какие богатые счастливые. А мы бедные ». У Пастернака это место сделано не так наивно, гораздо взрослее. Но дальше уже идет точно, ему снова удастся гетевская Маргарита-дитя.

17 января 1953

Была на днях у Анны Андреевны. Она читала мне Гюго — опять Гюго, будь он неладен ! Скоро она уезжает.

19 апреля 1953⁽¹⁾

— Ночью я несколько раз просыпалась от счастья, — сказала мне Анна Андреевна, когда разговор зашел об освобождении врачей (2).

(1) Напоминаю читателю, что в промежутке между этой и предыдущей датой — в марте 1953 г. — умер Сталин.

(2) В последний год своей жизни, Сталин, для разжигания антисемитизма, изобрел « дело врачей ». Известные в Москве, заслуженные врачи-специалисты, преимущественно еврейского происхождения, были арестованы; 13 января 1953 года « Правда » сообщила читателям, будто « раскрыта террористическая группа », « ставившая своей целью, путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза ». Далее шел список злодеяний, в которых « признались преступники » : оказывалось, что именно они убили Жданова и Щербакова и собирались « вывести из строя » маршала Василевского, маршала Говорова и мн. др. Следствие установило, что « врачи-убийцы » действовали по заданию « еврейской буржуазно-националистической организации « Джойнт », осуществлявшей в Советском Союзе « широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность ».

5 марта 1953 года было сообщено о смерти Сталина; а 4 апреля — об освобождении врачей : « Проверка показала, — писала « Правда », — что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные,

В столовой пили чай два остроумца — Ардов и Шток. Мы присоединились к ним ненадолго. Взвизгивала из-под дивана Лапка : оказывается, ее в детстве ударили ногой и она теперь на всякий случай всех боится. Анна Андреевна величественно сидела посреди дивана и высочайше покровительствовала острогам.

Когда мы вернулись к ней в комнату, она прочитала мне 5-й акт Марьон Делорм. Струятся, струятся стихи мерным, прекрасным движением, а по мне хоть бы их и вовсе не было. Я не могу словами определить разницу — где поэзия, а где мертвечина, но слышу ее ясно. Мне хотелось спросить у Анны Андреевны, много ли денег даст ей Гюго, то есть надолго ли освобождает от необходимости переводить, но я не решилась.

1 мая 1953

К четырем часам, как обещала накануне, я собиралась к Анне Андреевне. В 3 внезапно позвонил Д., и со свойственной ему настырностью стал требовать, чтобы я ехала с ним в Загорск. Я отказывалась, он настаивал. Тогда, чтобы он понял всю невозможность, я объяснила, куда иду. Не подействовало, напротив — только поддало жару : он заявил, что мы возьмем Ахматову с собой. « Это ведь первая дама в Империи ! » кричал он в восторге.

на которые опирались работники следствия — несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства Государственной Безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия ».

(То есть, — как и все « признания подсудимых », добытые следователями сталинской эпохи — « признания » врачей даны были под пыткой).

Знаменитая резолюция Сталина : « бить, бить, бить », ставшая известной позднее, относилась именно к следствию над врачами.

Я решила позвонить Анне Андреевне.

В ответ на мое предложение раздался обрадованный голос :

— Всю жизнь мечтала побывать в Загорске. Поблагодарите вашего приятеля. Жду вас.

И трубка была повешена с такой быстротой, с какою, кажется, умеет ее вешать только она одна.

Минут через пять Д. был у моих ворот. Через десять мы подъезжали к дому на Ордынке. Вел машину шофер. Ехал с нами и Петя, сын Д., толстый мальчик лет 13.

Я поднялась к Анне Андреевне. Она довольно долго пила кофе и собиралась. Наконец надела старое пальто, старые черные перчатки, повязала лицо под шляпой старомодной вуалью и мы спустились.

Д. усадил Анну Андреевну впереди, рядом с шофером, и хорошо сделал, потому что сын его, Петя, в виде протеста, что едем мы не туда, куда хотел он — в Углич, а туда, куда хотел отец — в Загорск — барином развалился на заднем сидении, и нам с Д. было решительно некуда девать свои руки и ноги.

Я в долгу перед Подмосковьем — я его совсем не знаю, наверное в отместку судьбе, насильно разлучившей меня с Павловском и Царским. И не знаю зря. Чуть только из-под арки ворот глянули мне в глаза звезды на куполах, сердце обрадовалось : какой веселый храм ! и кругом тоже всё пестрое, веселое, праздничное, разное !

Но лучше всех архитектурных чудес была на этой прогулке Анна Андреевна. Я давно не видела ее в таком спокойном, добром и радостном духе. Омрачилась она за всю прогулку только один раз : мы проезжали мимо Рижского вокзала, и она, по ее словам, впервые его разглядела.

— Ужасно, — сказала она, отворачиваясь. И через минуту, хотя вокзал уже остался далеко позади : — Постыдно. И на таком видном месте !

Стрекотание Д., к моему удивлению, не раздра-

жало ее : напротив, она весело и добродушно на него откликалась. Ее образованность светила нам всю дорогу. Отвечая на расспросы шофера и наши, она рассказывала нам о Сергии Радонежском, о возведении Лавры, о поляках и татарах.

Когда мы вышли из машины в Загорске, нас сразу обхватил ветер. День был темный, ветреный, близился дождь.

Мы вошли в Патриаршую церковь. На паперти копошились нищие, совершенно суриковские. Анна Андреевна, сосредоточенно крестясь, уверенной поступью, торжественно шла по длинному храму вперед, а мы плелись за нею. (Мне в церкви всегда неловко). Пение было ангельское. Из Патриаршего храма мы пошли в другой, поменьше. Вокруг нас шептались : « Мирские, мирские ! » Тут пели не только певчие, но и прихожане. Пение стройное, сильное, будто не люди, а сама церковь поет. Лиц таких не увидишь на улице Горького; тут нет серой, безличной толпы, стертых лиц; каждое лицо определенное, свое; и глаза не без сумасшедшинки, особенно у женщин.

Анна Андреевна опустилась на колени перед иконой Божией Матери, а мы вышли.

Скоро она присоединилась к нам. Мы направились было в Музей — но он, по случаю 1 мая, оказался закрыт, и мы просто побродили по двору минут 20, любуясь на уютную семью церквей — таких разных и таких похожих. Бродили бы и дольше, если бы не буйный ветер.

Д. все время порывался сфотографировать Анну Андреевну. Она не позволяла, он настаивал. Тогда она, помедлив секунду, повела вокруг зоркими глазами и сразу нашла то, что искала :

— « Фотографировать запрещено » — прочитала она по складам. — Видите ? Черной краской ? И отлично. А то сказали бы, что я специально сюда приехала сниматься на фоне древностей.

Но когда мы вышли на площадь, Д. все-таки ухитрился снять нас обеих возле машины.

Мы быстро уселись внутрь, спасаясь от ветра.

— У вас волосы стояли дыбом, когда нас снимали, — шаловливо сказала мне Анна Андреевна. — До самого неба. Вот будет интересная фотография! (1)

Д. открыл свой тугой портфель и закормил нас бутербродами, шоколадом и пастилой.

Отправились в обратный путь. В машине стало просторнее: сытый Петя подобрел и уселся по-божески. Я тоже стала испытывать к Д. нечто вроде благодарности за эту интересную и уютную поездку.

Дождь не состоялся. Посветлело. Плохая дорога длилась недолго. Вдруг из-за туч вышло солнце и всё засияло кругом. Едва распускающиеся деревья бежали по сторонам. Под солнцем стало видно, что они зеленеют. Анна Андреевна рассказывала об Истре, где была у Эренбургов, и о Новом Иерусалиме. Д. спросил, посетила ли она выставку 53 года. «Да». — «Ну, как?» — «Опять двойка!» (2)

Д. захохотал. Он вообще оказался смешлив, словно дьякон в «Дуэли».

Анна Андреевна стала рассказывать, весьма неодобрительно, о Музее-квартире Пушкина на Мойке в Ленинграде.

— Я помню, как в квартире Пушкина помещался Рыбтрест. Потом на том месте, где Пушкин умер — ванная. Это уже на моей памяти. Зачем же внушать экскурсантам, будто всё так и было при Пушкине, как в этой квартире сейчас? И какая бестактность, какое бездушие повесить в его спальне, над его постелью витрину с портретами всех его врагов! Тут и Нико-

(1) Эта фотография, к сожалению, сохранилась. Она чудовищна. Я — настоящее огородное чучело, и даже А.А. некрасива. 1969.

(2) «Опять двойка!» — картина Ф. Решетникова, появившаяся в 1952 году на ежегодной выставке художников РСФСР.

лай I, и Уваров, и Бенкендорф и Полетика. Внизу бы повесили, в раздевалке, там можно 20 таких витрин разместить. Поглядев на это, я раздумалась о том, что такое слава. Умрешь, и над твоей постелью повесят портреты твоих врагов... Да ну ее к черту!

Д. захохотал.

Анна Андреевна внимательно глядела в окно. Еще в Лавре она сказала мне:

— Сколько пьяных! Все, кроме нас. Посмотрите на этого — беденький! для праздника голубенькую рубашечку надел, а теперь ноги не держат.

И по дороге она все дивилась пьяным.

— Это как в день мира с Финляндией, помните, Лидия Корнеевна? Я шла к вам, (а жили мы друг от друга очень близко — пояснила она Д.) — и по пути насчитала четырех женщин, лежавших в луже и уже успевших примерзнуть.

Д. захохотал. Я перестала испытывать благодарность.

Мы снова проезжали мимо Рижского вокзала.

— А, вот оно опять, — сказала Анна Андреевна. — Да. Так и есть. Оно.

Д. повез нас посмотреть иллюминацию, Ленинские горы, Университет.

Выйдя из машины во дворе на Ордынке и поблагодарив Д., Анна Андреевна сказала:

— Я запомню 1 мая 1953 года. Счастливый день.

Д. был очень польщен. Подвозя меня на улицу Горького, он все повторял:

— Она может считаться первой дамой в Империи, не правда ли? Многие ее высказывания имеют, не правда ли, м е м у а р н ы й х а р а к т е р ?

4 мая 1953

Сегодня я провела у Анны Андреевны совсем ленинградский вечер: читала она мне наконец собственные стихи, а не переводы. Читала Ахматову — не Гюго.

Пять стихотворений 45-46 гг. — « Cinque », « Иду я, чудеса творя ». В самом деле, чудеса : 5 чудес.

В довершение счастья, она, без просьбы с моей стороны, подарила мне окончательный вариант « Поэмы ». Надписи не сделала, только поставила на обложке свое перечеркнутое А. Говорит, что вынуждена писать к « Поэме » новое предисловие : вещь эта вызывает множество кривотолков, политических и непристойных.

Тут же она сообщила прекрасную новость : ее перевод Гюго принят, деньги ей должны перевести на днях !

Неужели у нее будут деньги ? Неужели когда-нибудь окончится ее нищета ? Вот еще одна безусловная заслуга Гюго перед литературой : благодаря ему на какое-то время Ахматова избавится от переводов и снова будут беспрепятственно рождаться ее стихи.

...Вечер мы провели с ней совсем по-ленинградски еще и потому, увы !, что она рассказала мне о последних подвигах Двора Чудес (1). А я-то воображала — это уже позади !

14 мая 1953

Сегодня среди дня вдруг позвонила Анна Андреевна : « Можно к вам сейчас ? » — пришла и просидела до вечера.

В солнечном луче, от которого она не отклонялась, ярко были видны ее зеленые глаза и глядящая из них — она.

Я сейчас читаю дневники Толстого, том за томом, один лежал на столе. Анна Андреевна заговорила о Толстом. Как всегда, когда она говорит о нем, в ее речах смесь негодования и восторга.

(1) Деятельностью Двора Чудес А.А. называла надзор, который постоянно за собой ощущала.

— Силища какая. Полубог! Но все из себя и через себя — и только. Пока он любил Софью Андреевну, она и в Кити, она и в Наташе... Да, да и в Наташе, не удивляйтесь... Вы думаете, отчего Наташа жмот — в конце, в эпилоге? От того, что Софья Андреевна оказалась скупой. Другой причины нет: ведь Наташа-то была добрая, щедрая, сбрасывала с саней вещи, чтоб поместить раненых... Отчего же она стала скупая? Софья Андреевна!... А когда он разлюбил Софью Андреевну — тогда и «Крейцера Соната», и вообще чтобы никто никого не любил — никто, никогда! — и чтобы никто ни на ком не смел жениться.

«Воскресенье»... В чем корень книги? В том, что сам он, Лев Николаевич, не догадался жениться на проститутке, упустил своевременно такую возможность... А деревня там, конечно, ненастоящая, деревня, как правило, такой не была, это он на голоде такую видел и сюда вписал. И эс-эры там не эс-эры, а толстовцы. Все через себя, всегда и только — уверяю вас.

Исторической стилизацией — стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени — он никогда не занимался. Высшее общество в «Войне и Мире» изображено современное ему, а не александровское. Отчасти он прав: высшее общество менялось менее всего, но все-таки оно менялось. При Александре, например, оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа — если бы он написал ее в соответствии с временем — должна была бы знать пушкинские стихи, Пьер должен был бы привезти в Лысые Горы известие о ссылке Пушкина. И, разумеется, никаких пеленок: женщины александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа.

Затем она стала рассматривать первый герценовско-огаревский том «Литературного Наследства». Из ее вопросов я с огорчением убедилась, что, хотя она

и ценит высоко Герцена (и именно так, как я, то есть как великого писателя), знает она его меньше, чем мне хотелось бы. Я не утерпела, сняла с полки несколько моих любимых статей — те, где мысли ходят валами ритма — и прочитала ей вслух. Повидимому, она была увлечена, потому что, пока я разогревала обед, а потом бегала вниз за мороженым, она прилежно перечитывала те же статьи — «Плач», «Трагедия за стаканом грога», «Письма к противнику», «Поляки прощают нас» и пр.

— Да, — сказала она за обедом, — великая проза, наравне с гоголевской, дostoевской... Вы правы: именно это есть проза Герцена, а не его беллетристика: «Кто виноват» и «Сорока-воровка». То — второсортно.

Был уже вечер, когда я отправилась ее провожать. Мы шли пешком. Когда мы взошли на мост, Анна Андреевна сказала радостно:

— Вот, получила деньги и теперь буду отдавать долги!

На мосту к нам подбежали две молоденькие девушки: «Как пройти к Малому Театру»? Анна Андреевна подробно и толково объяснила им. Мне жаль было, что девочки не знают, кто она, и не запомнят на всю жизнь ее лицо.

20 мая 1953

Третьего дня Анна Андреевна уехала в Болшево.

30 июня 1953

Вот и мне привелось доставить радость Анне Андреевне.

Третьего дня она меня позвала; я пошла под вечер.

Жара, в горле пересохло. Когда Анна Андреевна предложила мне чаю, я обрадовалась. Ответила строкой:

— « И я прошу как милости »...

— Как милостыни? — повторила она, подняв брови.

— Нет, как милости, — поправила я вполне уверенно. — « И я прошу, как милости ».

— О чем же тут уж так просить? — сказала Анна Андреевна недовольно.

Тут только меня осенило: она принимает собственные стихи за мою просьбу!

« — Но знаю, что иду туда, к врагу » — сказала я еще одну строчку.

Тогда она вдруг поняла и все ее лицо осветилось.

« — Но знаю, что иду туда, к врагу » — произнесла она по складам, прислушиваясь.

Я прочитала:

« И я прошу, как милости. Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник.
Уж тридцать лет как проводили дам.
От старости скончался тот проказник.
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда ».

Она и праздника, оказывается, не помнила, и ужасно обрадовалась ему, вернувшемуся из небытия, и трогательно меня благодарила.

Дальше начались огорчения: это всего лишь середина — и ни начала, ни конца. Анна Андреевна уверяла меня, что я должна вспомнить всё, а я надеялась на нее. Я спросила, неужели это не записано?

— Было записано, — ответила она неопределенно.

Быть может, по случаю воскрешения « Подвала памяти » мы многое вспомнили в этот вечер из ленинградских вместе пережитых времен. И она задала мне тот вопрос, который все сейчас задают друг другу: надеялась ли я дожить до смерти Сталина?

— Нет, — ответила я. — Как-то про это не думалось. Я жила в сознании, что он придан нам навсегда. А вы? Надеялись дожить до его смерти?

Она покачала головой.

Я спросила, как она думает : предполагал ли сам он когда-нибудь умереть ?

— Нет, — ответила она. — Наверное нет. Смерть — это было только для других, и он сам ею ведал.

Провожая меня в переднюю, она сказала :

— Вот как мы с вами сегодня хорошо поговорили — по душам. А то всё литература и литература.

5 июля 1953

Сегодня Анна Андреевна рассказала мне свой « первый день » (1) :

— Утром, ничего решительно не зная, я пошла в Союз за лимитом. В коридоре встретила Зою (2). Она посмотрела на меня заплаканными глазами, быстро поздоровалась и прошла. Я думаю : « Бедняга, опять у нее какое-то несчастье, а ведь недавно сына убили ». Потом навстречу сын Прокофьева. Этот от меня просто шархнул. Вот, думаю, невежа. Прихожу в комнату, где выдают лимит, и воочию вижу эпидемию гриппа : все барышни сморкаются, у всех красные глаза. Анна Георгиевна (3) меня спросила : « Вы сегодня, Анна Андреевна, будете вечером в Смольном ? » Нет, говорю, не буду, душно очень.

Получила лимит, иду домой.

А по другой стороне Шпалерной, вижу, идет Миша Зоценко.

Кто Мишеньку не знает ? Мы с ним, конечно, тоже всю жизнь знакомы, но дружны никогда не были — так, раскланивались издали. А тут, вижу, он бежит ко мне с другой стороны улицы. Поцеловал обе руки

(1) То-есть рассказала о дне постановления Ц.К. 1946 г.

(2) Зою Александровну Никитину, работавшую тогда в Литфонде.

(3) Анна Георгиевна Томац, служащая Литфонда.

и спрашивает: «Ну, что же теперь, Анна Андреевна? Терпеть?» Я слышала в полуха, что дома у него какая-то неурядица. Отвечаю: «Терпеть, Мишенька, терпеть!» И проследовала... Я ничего тогда еще не знала.

Это случилось 7 лет назад. И длится до сих пор.

Сегодня она озабочена Сурковым: тем, что он не звонит. Он — редактор ее новой книги. Чагин обещал, что Сурков позвонит ей... Состав книги предписан такой:

I. Переводы.

II. Стихи о мире.

III. Лирика после 46 года.

После 46-го... Только после 46-го! А до, видимо, все зачумленное.

И еще озабочена она тем, что несмотря на большой успех ее Марьон Делорм среди специалистов, ей в Гослите не предложили ничего нового из Гюго. Дали китайца, необыкновенно трудного.

— Работала три часа, глянула в зеркало — губы посинели... Такой трудный! — объяснила она.

Показала мне подстрочник, по ее словам «совершенно немотствующий». Он сделан каким-то старым специалистом. Тут же на полях карандашные разъяснения более молодого, более толкового китаевода. И — крохотный китайский иероглиф, который ее очень трогает.

Она спросила, читаю ли я в газете статьи Л. о языке и что о них думаю. Я их из всех сил обругала.

— Клинический случай старческого маразма, — сказала Анна Андреевна. — Как можно такое острое заболевание демонстрировать на всю страну! — и, бросив говорить о Л., заговорила о языке Замоскворечья.

— Пойдешь в баню и слушаешь банщиц: «а татары-то разодрались» — словно симфонию... Дивно говорит Борис Леонидович, чисто по-московски, лучшего

языка я не слыхивала. И сестры Игнатовы (1). Фонетически определить, в чем тут дело, я не могу, но наслаждение их слушать.

Затем разговор коснулся Чехова, и она снова отозвалась о нем неодобрительно — как это бывало уже столько раз!

Я пожаловалась на свою неудачу в кино со сценарием «Анны на шее»: когда я истратила на работу уже несколько месяцев, начальство вдруг спохватилось, что в рассказе нет положительного героя.

— «Попрыгунья» была бы, пожалуй, более проходима — сказала я — там все есть, что требуется: и отрицательная героиня, и положительный герой...

— И высмеяны люди искусства, — сейчас же сердито подхватила Анна Андреевна, — художники. Действительно, все, что требуется!

Я высказала предположение, что быть может там не люди искусства, а люди при-искусстве, возле-искусства...

— Ну да, Левитан! — перебила меня Анна Андреевна. — Ведь Рябовский — Левитан... И заметьте: Чехов всегда, всю жизнь изображал художников бездельниками. В «Доме с мезонином» пейзажист сам называет себя бездельником. А ведь в действительности художник — это страшный труд, духовный и физический. Это сотни набросков, сотни верст не только по лесам и полям с альбомом, но и непосредственно

(1) Сестры Игнатовы — Наталья и Татьяна Ильиничны, с которыми А.А. встретила и подружилась в Болшеве. Обе — большие эрудиты, знатоки старинных рукописей. Н.И. в последние годы была редактором в издательстве Академии Наук; Т.И., (в замужестве Кошина), переводила со старо-немецкого рукописи для Института Естествознания. Взяв машину, сестры Игнатовы вместе с А.А. совершали дальние прогулки по Подмосковию. Побывали они однажды и на Рогачевском шоссе — вот почему стихотворение «Пора забыть верблюжий этот гам», кончающееся строками о Рогачевском шоссе, первоначально печаталось с посвящением Н.И. Игнатовой.

перед холстом. А сколько предварительных набросков к каждой вещи! Мне Замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева — там тысячи набросков для одного портрета. Тысячи — для одного.

Я спросила, чем же она объясняет такую близорукость Антона Павловича.

— Повидимому, Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей — фельдшериц, учительниц — а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников.

Осведомилась, что я сейчас читаю. Я читаю и читаю Фета. Прочла ей наизусть: «Ель рукавом мне тропинку завесила», «Я болен, Офелия, милый мой друг», «Слова птицы летят издалека»; она просила «Еще! еще!» и я читала еще и еще.

— Он восхитительный импрессионист, — сказала Анна Андреевна. — Мне неизвестно, знал ли он, видел ли Мане, Писарро, Ренуара, но сам работал только так. Его стихи надо приводить в качестве образца на лекциях об импрессионизме.

16 июля 1953

В 10 часов вечера, когда я уже лежала в постели, телефонный звонок: Ахматова.

— Лидия Корнеевна, не может ли случиться, что вы согласитесь сейчас ко мне прийти? В порядке чуда?

Я встала, оделась и в порядке чуда пошла к ней по проливному дождю.

У нее в комнате Ардов. Острит, сыплет анекдотами, показывает игрушки и коробочки, склеенные им самим. Анна Андреевна выслала его из комнаты: «Я хочу прочесть Лидии Корнеевне китайца. Я его кончила».

— Вы будете первой слушательницей... Нет, неправда... Я читала еще Липскерову, и он сказал... Нет, я вам потом скажу, что он сказал...

Надела очки, опустила глаза — лицо сразу сделалось неподвижным, суровым — и тихо, торжественно начала читать.

Ну что я понимаю в китайцах? Ровным счетом ничего. Мне оставалось только честно отдаваться своему восприятию и следить за стихами и за собою. Наверное, этот поэт для Ахматовой роднее, чем Гюго, потому что сквозь века стих позволяет расслышать струю жизни. Перевод повидимому отличный. Вслушиваясь, я искала пустот, натяжек, искусственностей и не нашла нигде. Я поздравила автора, повторив, конечно, 100 раз, что я тут не судья.

— А вот Липскеров объявил так: «для первого раза это ничего».

Мы пошли пить чай с Ардовым. Он был очень радушен, заварил какой-то особенный чай. Анна Андреевна меня сконфузила, сказав: «Лиде нравится».

Мы быстро вернулись к ней в комнату. Она прилегла. Китаец ее замучил. Жалуется на сердце, говорит: «Живот чужой, руки и ноги холодные».

Сурков не звонит.

19 июля 1953

С утра позвонила Анна Андреевна и попросила непременно прийти к ней сегодня: завтра она уезжает.

Я пошла днем. У нее Харджиев. Мы долго сидели втроем в столовой. Ардовых нет; Анна Андреевна попробовала было найти чай и заварить его, но не нашла. Я тоже. Зато Николай Иванович быстро разобрался в хозяйстве, и мы пили вкусный, крепкий чай.

Почему-то зашла речь о Тургене-ве. Мы дружно на него накинулись.

— Так провинциально! — говорила Анна Андреевна. — «Клара Милич» или «Стук-стук!» прямо как из подвала провинциальной газеты.

Я сказала, что зато «Первая любовь» у него хороша.

— Вы просто давно не читали. Перечтите! — строго ответила Анна Андреевна. — Что у него хорошо, так это «Смерть Чертопханова». А вовсе не «Первая любовь».

3 октября 1953

Приехала Анна Андреевна, и я у нее была. Но я долго не писала дневник и позабыла дату.

Вот упомянутые речи:

1) — Заметили ли вы, что в какой-то момент Толстой выпал из литературы? Он был в ней, а потом перестал иметь к ней какое бы то ни было отношение. Конечно, он всегда и отовсюду был слышен и виден — из любой точки земного шара, — но уже как явление природы: ну как зима, осень, заря...

2) — В Ленинграде Союз Писателей не обращает на меня ровно никакого внимания. Я ни одной повестки не получаю, никогда, никуда, даже в университет марксизма-ленинизма. Со мною обращаются, как с падалью — или, пожалуй, еще хуже — вы слышали, как в очередях говорят: «вас здесь не стояло»!

3) — Ленинград этим летом был прекрасный. Я к нему привыкла, всяким его видела, но таким — никогда. Весь в розах и маках. Летний Сад великолепен. Но там за мной идет такая вереница теней...

На прощанье — после чаю и фарсов Ардова — она мне сказала:

— Приходите! Поедем куда-нибудь вместе на Алешиной бибишке. («Бибишкой» называется Алешин (1) «москвич»).

10 октября 1953

Была на днях у Анны Андреевны. Она прочитала мне свою статью о «Каменном Госте».

(1) Алеша — см. примечание на стр. 121.

Опять-таки : какой я пушкинист ? Но меня поразило в ахматовском исследовании проникновение в душевную биографию Пушкина, обилие интуитивных догадок, подтвержденных логикой ясного, трезвого ума... Написана при этом статья не очень хорошо — дурная литературоведческая традиция сказывается даже на Ахматовой : статья только местами дорастает до прозы.

Анна Андреевна вынула из чемоданчика и показала мне экземпляр своей рукописи, сданной в издательство в 1946 году и возвращенной недавно с пометкой :

« Возвращается за истечением срока хранения ».

17 октября 1953

Вчера мне звонила Анна Андреевна.

Звонила она от Ардовых — но туда пришла только в гости, а живет у Харджиевых, на Кропоткинской, где нет телефона.

Новости великолепные : однотомник будет ! и скоро ! и лирика разрешена не только после 46 года, но и до ! по ее выбору ! И обращались с ней в издательстве почтительнейше — посылали машину ! И Сурков объявил о будущей книге официально, на большом собрании — так что всё будто и в самом деле !

Рада ли я ? О, что говорить ! Лучше поздно, чем никогда. Лучше; но почему-то это радость отравленная, как странным образом отравлены все наши теперешние радости. Наверное интоксикация прошлым.

« Долгих лет нескончаемой ночи
Страшной памятью сердце полно ».

21 октября 1953

Звонила Ахматова. Книга ею сдана... Вот как !

30 октября 1953

27-го была у меня Анна Андреевна.

Позвонила от Ардовых, куда пришла ненадолго. Вызвалась приехать ко мне. Потом :

— Только я не знаю, где вы живете.

— ?

— Признаюсь, в последний раз меня к вам провожали.

Я объяснила подробно, где живу, и осведомилась, хорошо ли она справляется с лифтом.

— Великолѐпно ! (Ударение на втором е, оно долгое, а о почти не слышно). Великолѐпно ! Я, конечно, с легкостью поднимаюсь и опускаюсь, вот только кнопки нажимать не умею.

Я вызвала такси и поехала за ней.

И вот она у меня.

Я была счастлива видеть ее новую шубу, туфли, перчатки... Спасибо Гюго и милой Нине Антоновне !... В черном новом платье и в белом платке на плечах под белой сединой, сидит у меня в кресле,

« Строга, прекрасна и ясна », приложив к щеке руку с отгибающимися назад пальцами.

Чуть-чуть запавший рот, чуть-чуть поблекшие серо-зеленые глаза.

Она была оживлена и даже весела, но я сразу почувствовала под оживлением — тревогу.

Так и есть : она боится, что Сурков предложит ей квартиру в Москве.

Она не хочет. Почему ? Говорит, потому, что если она переедет сюда — в ее комнату в ленинградской квартире кого-нибудь непременно поселят и, таким образом, Ирина (1) окажется в коммунальной квартире.

(1) Ирина — дочь искусствоведа Николая Николаевича Пунина, с которым А.А. сблизилась в середине двадцатых годов и разошлась в 1938. Н.Н. Пунин был арестован в 1935

Но я думаю, тут не только в Ирине дело.

Анна Андреевна жить одна не в состоянии, хозяйничать она не могла и не хотела никогда, даже и в более молодые годы. А что же теперь, с больным сердцем? Теперь ей гораздо удобнее жить в Москве не хозяйкой, а гостьей. (Судя по ее частым наездам в Москву, в Ленинграде, «у себя», ей совсем не живется).

— Не знаю, как быть, — сказала она со вздохом. — Нина Антоновна и Николай Иванович требуют, чтобы я согласилась.

Я промолчала. Я недостаточно уверена, чтобы советовать.

Разговор с Сурковым состоится завтра, он обещал заехать за ней и увезти к себе. Разговор будет о книге — и вот, она боится, о квартире.

Помолчав, она попросила меня снова прочитать ей кусок из «Подвала памяти». Оказалось, к моему огорчению, она более ничего не вспомнила, ни в начале, ни в конце. На этот раз я не только повторила вслух вспомненные мною раньше строки, но и написала их: быть может, думала я, бумага подтолкнет ее память — и, записывая середину, внезапно сама вспомнила последнюю строчку всего стихотворения:

Но где мой дом и где рассудок мой?

(Как я могла забыть, хотя бы на минуту, эту строку, — это угрожающее — свистящее длинное с

году (вместе с Л.Н. Гумилевым) и после письма А.А. к Сталину освобожден; затем снова арестован в 1949 и погиб в лагере в 1953. К нему обращены стихотворения Ахматовой: «Последний тост», «От тебя я сердце скрыла», «И сердце тó уже не отзовется»; одна из «Северных элегий» (Так вот он — тот осенний пейзаж) и др.

Ирина Николаевна Пунина, вместе с отцом, а впоследствии — с мужем и дочерью долгие годы жила в Ленинграде на одной квартире с А.А.

в слове «рассудок» — и четыре трезвые 0 — эту страшную строку, венчающую весь монолог каким-то приступом безумия?

Но где мой дом и где рассудок мой?

Анна Андреевна взяла в руки листок, поглядела на него, поглядела на меня и проговорила:

И кот мяукнул. Ну, пойдем домой.
Но где мой дом и где рассудок мой?

Так, совместными усилиями, нашлись еще две строки, но более ни слова.

— Значит, там был кот, — с надеждой сказала я.

— Мало ли на свете котов! — ответила Анна Андреевна.

В 11 часов я вызвала такси и поехала ее провожать на Кропоткинскую к Николаю Ивановичу.

— Звонил Борис Леонидович, звал на понедельник к ним — рассказывала она по дороге. — «От этого дня зависит, стоит ли жить!» Это означает: чтение романа, ведра шампанского, икра, актеры... Я не пошла.

— Вот с этого места началась для меня Москва, — сказала она, когда мы проезжали мимо какого-то переулка близ Кропоткинской. — В 18 году, я, замужем за Шилейко (1), жила тут, в Третьем Зачатьевском. Лютый холод и совершенно нечего есть... Если бы я тогда осталась в Москве, другой была бы моя биография... Неподалеку был храм, там всегда звонили.

— «С колоколенки соседней звуки важные текли»? — спросила я.

— Нет, «Переулочек-переул»...

(1) Владимир Казимирович Шилейко — востоковед, ассириолог, поэт, переводчик. Ему посвящен цикл стихотворений А.А. «Черный сон».

Мы приехали.

На лестнице

Пролог

Под лестницей

Входит секретарша нечеловеческой красоты.

— «Как ваша фамилия?» — «Все та же» (1).

4 ноября 1953

Вечер провела у Анны Андреевны. Она снова у Ардовых. Полеживает. Где-то в гостях ее настиг радикулит — ни встать, ни сесть — она переносит боль, слегка морщась, но с иронической улыбкой.

Была она у Суркова. Оказалось: ей предлагают в Москве не квартиру, а комнату, а в книге стихи все-таки только после 1946 года... Вот и радость!

— Сурков уверяет, что на стихах только после 46 года настаивал И. Предлог такой: если напечатать стихи до 46 года и после — сразу будет видно, что после 46 года я стала писать гораздо хуже. Но конечно это лишь предлог. Просто ему кто-то передал, будто я браню его стихи. И это месть. А я их и не читала.

И. в 49 году (2) приезжал в Ленинград и метал громы и молнии: «ахматовщину надо выжечь каленым железом». Я сказала об этом Суркову.

А Сурков был очень деликатен и мил. Уверяет, что будет настаивать на полноте. Из представленных

(1) Полагаю, что эта на вид столь бессмысленная запись есть попытка зафиксировать содержание драмы, которую Ахматова написала в Ташкенте, потом сожгла и в этот вечер мне пересказала.

(2) Год написан неразборчиво.

мною стихов просил меня убрать только 6 стихотворений: «Хорошо здесь: и шелест и хруст», «Тот город, мной любимый с детства» — и еще какие-то, я не помню...

Наверное я изменилась в лице, потому что Анна Андреевна спросила:

— Что с вами? Что случилось?

Оба эти стихотворения — любимейшие мои из любимых, оба — вершины русской лирики.

— Почему же Алексей Александрович хочет изъять «Хорошо здесь: и шелест и хруст»? — спросила я, сдерживая злость, тихим голосом.

— Идеализм, — спокойно ответила с кровати Анна Андреевна. — В стихотворении говорится: мы прошли вместе в далеких веках, а этого на самом деле не бывает. Человек живет в определенном веке и в далеких веках ни вместе, ни не вместе пройти не может. Это идеализм.

— Вы сами догадались или вам объяснил Сурков?

— Сама.

— Ну, а «Тот город, мной любимый с детства» почему нельзя?

Она не ответила.

Господи, когда же наконец перестанут твориться над нами эти злодейства? Оба стихотворения — ликующие: в первом — долгая остановка посередине, точно набираешь дыхание перед вершиной, накануне счастья, и оно наступает:

И на пышных, парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем;

оба полны любовью к русским сугробам, к зиме, к русскому языку —

И слушала язык родной
И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг, от века милый
Всходил со мною на крыльцо.

Да, русский язык ей словно «друг, от века милый», а вот редакторы, издатели, собратья по перу...

— Я прошу вас пока никому ничего об И. не говорить, — сказала Анна Андреевна. — Через некоторое время я сама скажу человекам десяти и тогда ему станет не очень весело: он ведь любит казаться либеральным... А насчет книги мне совершенно все равно: выйдет ли так называемая большая книга, или маленькая, или совсем не выйдет никакой. «Большая» — это обескровленное «Из шести книг», дающее о поэте ложное представление — как, знаете, бывает очерк лица, беглый, не в $\frac{3}{4}$, а еще меньше. «Маленькая» — это вообще вздор. Я не обрадуюсь, если книга выйдет, и не опечалюсь, если она не выйдет совсем.

Анна Андреевна, поморщась от боли, села, приказала мне взять перо и бумагу и мы снова начали вспоминать «Подвал памяти». Она вспомнила почти всё (не знаю, при мне или раньше), я — ничего. Теперь не хватает только первых двух строчек.

... Не часто я у памяти в гостях,
Да и она меня всегда морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Я слышу, как опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник.
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!

Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен,
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой.
Но где мой дом и где рассудок мой?

Я напомнила Анне Андреевне, как в Ташкенте мы были с ней вместе у Толстых; там, после ужина, Алексей Николаевич просил Ахматову читать стихи: она отнекивалась, не знала что и, наконец, недовольно спросила меня: «Скажите, Лидия Корнеевна, что читать?» Я посоветовала: «Подвал памяти». Она прочла. И тут вдруг Толстой на меня напустился: «Зачем вы такое подсказываете? К этому незачем возвращаться!» Мне хотелось ему ответить, как в анекдоте: «Простите, господин учитель, это не я написал «Евгения Онегина».

— Вот, всякий вздор помните, а первые две строки не можете вспомнить! — сказала Анна Андреевна. И прибавила жалобным голосом: — Вы хоть скажите мне — про что там?

Когда я прощалась, Анна Андреевна попробовала было встать на ноги. И вскрикнула от боли. Я умоляла ее не провожать меня, сама открою и захлопну дверь, но она не послушалась.

— Я вспомнила, как это надо делать, меня учили: надо лечь и потом встать.

Легла поперек постели и встала — уже без стона; даже не поморщась.

18 января 1954

На днях — уже довольно давно — была у Анны Андреевны. На ней новый халат — лиловый — и такой пышный, торжественный, что в доме у Ардовых он

именуется «рясой». Она здорова, соблюдает разгрузочные дни, красиво причесана, ухожена.

Я рассказала ей, что на днях Борис Леонидович прислал мне в подарок «Фауста» с доброй надписью; я «Фауста» читаю потихоньку, а предисловие прочла всё и дивлюсь неуклюжестям и банальностям: о Ломоносове например написано так: «наш чудо-богатырь Михайло Ломоносов».

— Это еще пустяки, — ответила Анна Андреевна и взяла со стола книгу. — А вот, смотрите: «Гретхен, задушив ребенка, прижитого ею от Фауста»... Прижитого ею! Так раньше в полиции писали...

Вызвал Анну Андреевну в Москву здешний Союз по поводу предоставления ей квартиры. Повидимому это великая честь и милость, но дают ей всего лишь комнату — 10 метров в коммуналке. Квартиру отдельную и хорошую предоставляют Ардаматскому (тому самому, «Пиня из Жмеринки»)(1), а его бывшую комнату — Ахматовой.

Меня очень смешат шутки Ардова, которые Анна Андреевна выносит с полуулыбкой. Когда она при мне вошла в столовую в шуршащем лиловом халате — Ардов сказал, поднимаясь ей навстречу: «благословите, отец благочинный!»

20 января 1954

Была еще раз у Анны Андреевны. Она припоминает и записывает свои стихи. Чудесно! Уже и «Подвал памяти» записан. Она вынула рукопись из чемоданчика и показала мне. Но там и сейчас нет первых двух строчек.

— Как заколдованные! — пожаловалась Анна Андреевна. — Придумать новые легко, но я не хочу,

(1) Вас. Ардаматский — журналист; прославился антисемитским фельетоном «Пиня из Жмеринки» (см. «Крокодил», 20 марта 1953 г.).

хочу вспомнить... А этого вы не помните, Лидия Корнеевна? Что там дальше?

Показала страницу. Вижу — сверху «Б.П.». А потом записаны несколько строчек, первая такая:

И снова осень валит Тамерланом...

Читаю. Неуверенно спрашиваю:

— «Могучая языческая старость»?

Как хищно сверкнули у нее глаза, я никогда не видывала такого сверкания!

— Да, да, конечно!

И сразу схватила рукопись, спрятала ее в чемоданчик и заговорила о другом (1).

Опять она показалась мне сегодня изваянием самой себя — а, может быть, собственной Музы. Каждое ее движение, и, главное, каждую ее неподвижность, необходимо запечатлевать — кистью, резцом, а лучше бы всего кинопленкой. Вот сидит на постели, опираясь на обе ладони, голова поднята, в глазах — ум и насмешка, каждой черта оживлена, на устах слово, которое сейчас зазвучит — насмешливое или гневное; вот наклонилась над столиком, на котором раскрыта тетрадь — в руке карандаш — глаза опущены, веки неподвижны... лицо как на замке... ее будто нет здесь, она где-то у себя, далеко, «у памяти в гостях». Мрамор? Бронза? Подпись: «Ахматова над своими стихами».

Я спросила о Борисе Леонидовиче, которого давно не видела: как он поживает? как выглядит? как его здоровье?

— Я обожаю этого человека, — ответила Анна Андреевна. — Правда, он несносен. Примчался вчера объяснять мне, что он ничтожество. Ну на что это похоже? Я ему сказала: «Милый друг, будьте спокойны, даже если бы вы за последние 10 лет ничего не написали, вы все равно — один из крупнейших поэтов Европы XX века».

(1) В окончательном варианте — «евангельская старость».

Как он выглядит? Он старик, но красивый старик. Густые седые волосы, умные, полные жизни глаза. Прекрасная старость. А я и не люблю этих моложавых старичков: не поймешь, то ли ему 35 лет, то ли 85... Мне некоторые советуют выкрасить волосы. Я не хочу. Так мне за седину хоть место в трамвае уступят, а если буду крашенная: «ну и стой, стерва, стой!»

Потом вдруг:

— Помните, Лидия Корнеевна, как мы с вами, только что приехав в Казань, расспрашивали дорогу, и вам татарин один ответил: «провожу тебя за то, что ты молодая, а седая». И проводил нас до самого Дома Печати...

27 января 1954

Вчера звонила мне Анна Андреевна, просила прийти. По озабоченному голосу слышно: какое-то дело. Вчера я прийти не могла, позвонила ей сегодня с утра. Она сказала, что увидиться надо непременно, но ее вызвали в Гослит и она позвонит мне позднее.

Вернувшись, она позвонила, и я отправилась к ней.

Она как-то сдержанно-тревожна. Терпеливо пережидает шутки Ардова. Скоро мы остаемся одни. Оказывается, надо написать два письма о Леве (1).

Я сажусь за столик, она мне диктует. Мне все представляется неудачным, слабым, но я не понимаю, как и что поправлять. Трудный это жанр! Пока я думаю, перечеркиваю, предлагаю, Анна Андреевна, сидя на постели, ищет в сумке листок, где записано имя и отчество второго нашего адресата. Листка нет. Она нервно выкидывает из сумки пачку сторублевок, анализы, письма в конвертах и без конвертов, чьи-то стихи... Нет.

(1) Одно Ворошилову, а другое не помню кому.



1890 г.



900-е годы ?



10-е годы

20-е годы?

30-е годы



1922 г.



20-е годы



20-е годы ?



20-е годы



конец 20-х - 30-е годы



1936 г.



1940 г.

Памяти М. Булгакова

Вот это и тебе взяли почтенный роз,
Взяли кедровый курень,
Ты так сурово был и до конца донес
Внимательное презрение.

Ты был вино, ты, как никто, шутил
И в душевных стенах задыхался
И гостя страшного ты сам и свой вкусил
И с ней надгробье обрелся.

И ни тебя и все вокруг не жаль
О скоротечной и высокой жизни,
Линия голоса твой как дробь прозвучит
И на твоей безмолвной броне.

О кто подчас мог, кто покорил нас,
Своей плакающей душой не бивался,
Своей тлеющей на удивленном огне,
Всего переживавший, все забывший,

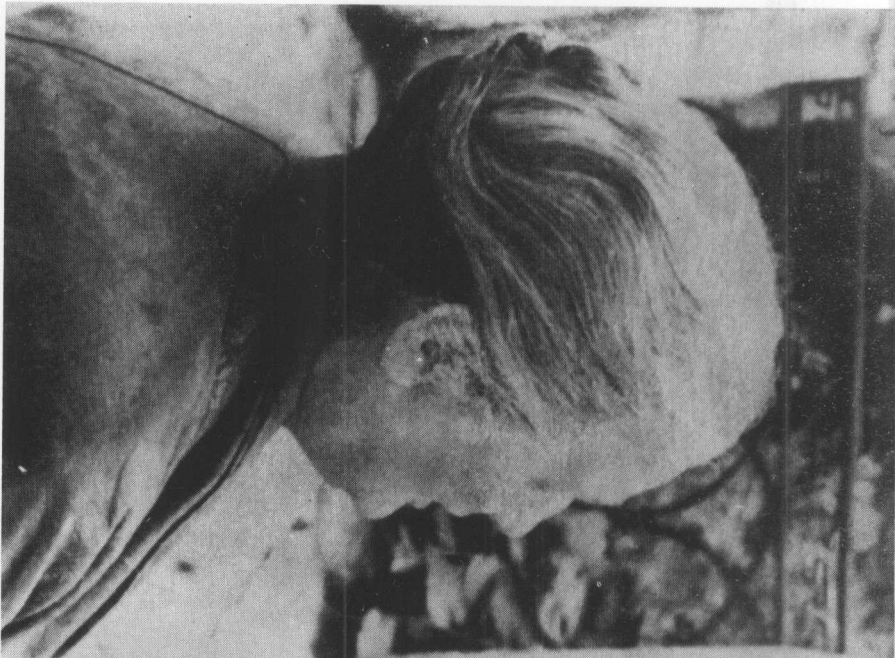
Стрепетом помнил того, кто полный сил
И щебеля заискивал и бил,
Как будто он в мире со мною говорил,
Скрывал дробь смертельной боли.

1940 Ленинград

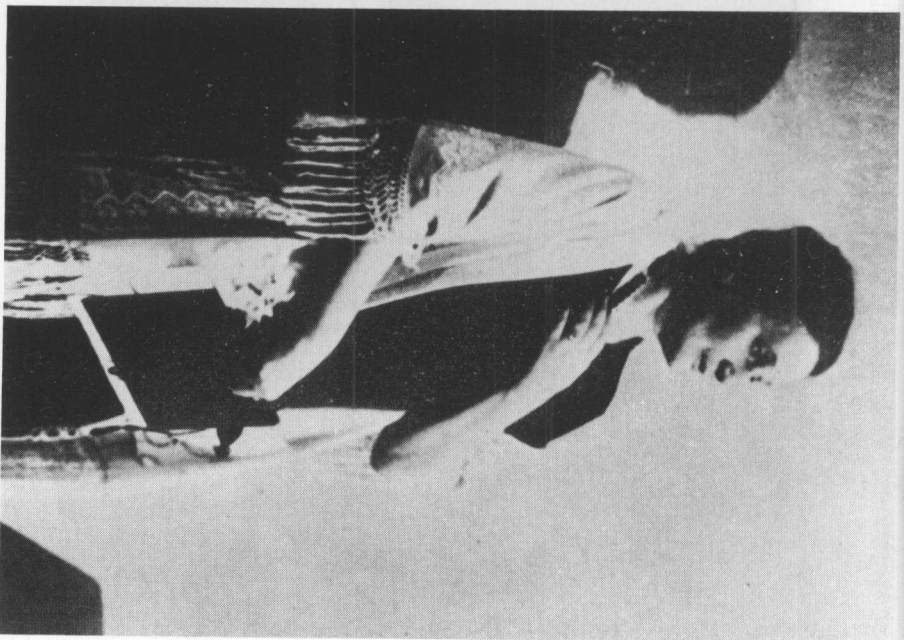
Март.



1942 г.



1956 T.



1946 T.



1964 г.



10 марта 1966 г.

написал письмо Ворошилову и говорил по телефону с ворошиловским секретарем. Тот передаст оба письма : Рудневское и Ахматовское. Мы сели сочинять. На этот раз дело пошло бойко, и письмо Ахматовой к Ворошилову вчерне готово. Анна Андреевна показала мне письмо Руднева — там описки : « Клемент », « Многу-важаемый »...

Мы робко исправили *е* на *и*.

Паспорт нашелся : пролежал несколько дней в троллейбусном парке.

Руднев собирается писать ее портрет.

12 февраля 1954

Только что пришла от Анны Андреевны.

Она была оживленная сегодня : показала мне по секрету очень плохие переводы Д. с китайского; выбранила Гюго за самодовольство и прочла свой новый перевод; но я все время чувствовала, что она утомленная, вялая, что она искусственно преодолевает усталость.

Письмо Ворошилову она уже послала.

20 февраля 1954

Узнав о моей болезни, вчера несколько часов провела возле меня Анна Андреевна.

Мне запрещено писать, но попробую.

В домашнем теплом платке, в толстых шерстяных носках, она была по стариковски проста и прекрасна.

Жалуются, что отекают ноги.

Говорили обо всем на свете : о смерти Сталина и его похоронах, о постановлении 46 года. Анна Андре-

нинградских и Московских высших архитектурных учебных заведений; с 1939 г. — действительный член Академии Архитектуры СССР.

— Когда я возвращалась в № 6 из Гослита, — говорит она — меня сильно теснили какие-то парни. Когда они вышли — в четыре голоса мне закричали кондукторша и пассажиры : « они подбирались к вашей сумке !... » Деньги целы — не могли же они взять один только листок с его именем ! А-а ! Они взяли паспорт.

Я внимательно перебрала все бумаги, вываленные Анной Андреевной на кровать. В самом деле, паспорта нет.

А если паспорта нет — то и письма писать бессмысленно, а надо ехать в Ленинград хлопотать о новом. Без паспорта все равно не получить ответа.

Одна надежда — подбросят.

Анна Андреевна каждую минуту вставала к телефону, ожидая звонка Ирины, которая приехала в Москву. Но звонки все были поздравительные : Нина Антоновна сегодня именинница.

Именинница пришла погоревать вместе с нами. То же перебрала все бумаги — нет.

Я спросила у Анны Андреевны, как у нее дела с комнатой. Видела ли она ее ?

— Да, я ездила смотреть вместе с Алешей. Этаж пятый, лифт не каждый день. Комната вроде этой, только длинней. Стоят две кровати, а между ними может пройти канатоходец. Кроме моей комнаты — еще восемь. Мне будут стучать в дверь : « Товарищ Ахматова, ваша очередь мыть коридор ».

Она была раздражена и несчастлива.

Пришла Ирина. В столовой собирались гости. Нина Антоновна звала к столу. Я извинилась и ушла.

5 февраля 1954

Вчера меня вызвала к себе Анна Андреевна. Я торопилась в « Литературное Наследство » и была у нее всего час. Руднев (1) (где только она ни бывает !)

(1) Лев Владимирович Руднев, архитектор, профессор Ле-

евна объяснила мне, что это уже не первое, а второе постановление на ее счет — первое состоялось в 1925 г.

— Я узнала о нем только в 27, встетил на Невском Шагинян. Я тогда, судя по мемуарам, была поглощена «личной жизнью» — так ведь это теперь называется? — и не обратила внимания. Да я и не знала тогда, что такое Ц.К. ...

Сильно сердится на Т.С.:

— Если она будет себя дурно вести, я перестану ее пускать. В последний свой визит она преподнесла мне несколько грубостей сразу. Все ее удовольствие — противоречить, спорить, отвечать наоборот. Точно нет иного удовольствия: понимать другого с полуслова, угадывать.

(Писать не могу).

8 мая 1954

Я видела их обоих вместе — Ахматову и Пастернака. Вместе, в крошечной комнате Анны Андреевны. Их лица, обращенные друг к другу: ее, кажущееся неподвижным, и его — горячее, открытое и несчастное. Я слышала их перемежающиеся голоса.

Вообще слишком много сегодня: я слышала новые куски «Поэмы».

Все это во мне остро и живо, как незаслуженное внезапное счастье, обернувшееся бедой. Какой-то пир горечи, жалости и гнева. Может быть, записывать следовало бы не сейчас, а позже, когда все уляжется, и понимать я буду яснее. Но я боюсь утратить верный звук. Лучше уж запишу сразу — пусть неразборчиво, комом, подряд.

Анна Андреевна приехала сегодня и позвонила. Ранним вечером я помчалась к ней.

Она встретила меня словами:

— Нам ничто не грозит, кроме появления Бориса Леонидовича.

Поспешно, без обычных расспросов и пауз, вынула

из чемоданчика экземпляр « Поэмы » (на машинке и в переплете) и стала читать мне новые куски. Читала она одни только вставки — строки, строфы — быстро переворачивая страницы и мельком указывая, куда вставляется новое — а я, от боязни, что не пойму и не запомню куда — вообще ничего не расслышала и ничего не запомнила. На обратном пути проверяла, теперь проверяю — ни строки.

« 1913 год » стал называться « Петербургская повесть ».

— Как долго она вас не отпускает ! — сказала я.

— Нет, тут другое. Сейчас я ее не отпускаю. Я пыталась рассказать всё, что за этим вижу. Оказывается, вижу только я. Ну, может быть, вы. Теперь пусть видят все... А то Л. ходит и толкует Бог знает как. Пусть теперь ему говорят : « Ничего там такого нету, вам надо лечиться »...

Затем, спрятав « Поэму » в чемоданчик, рассказала мне увлекательнейшую новеллу — происшествие четырехдневной давности :

— Я позвонила в Союз, Зуевой, заказать билет в Москву. Ее нету. Отвечает незнакомый голос. Чтобы придать своей просьбе вес, называю себя. Боже мой ! Зачем я это сделала ! Незнакомый голос кричит : « Анна Андреевна ? А мы вам звоним, звоним ! Вас хочет видеть английская студенческая делегация. Обком Комсомола просит вас быть ». Я говорю : « больна, вся распухла ». (Я и вправду была больна). Через час звонит Катерли (1) : вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили. (Так прямо по телефону всеми словами). Я предложила выход : найти какую-нибудь другую старушку и показать им. Выдать за меня. Но она не согласилась.

За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских

(1) Е. Катерли — писательница, прозаик.

совсем мало. Так сидит Саянов (1), так Зощенко, так Дымшиц (2), а так я. Еще переводчица, девка из ВОКС'а — да, да, все честь честью... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица : кто ? который ? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу : который спросит ? Сначала они расспрашивали об издании книг : какая инстанция пропускает ? долго ли это тянется ? чего требует цензура ? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает ? Отвечал Саянов. Потом они спросили : изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46 годом ? отошли ли от речи, от постановления ? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили m-г Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года ? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо... Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению m-ме Ахматова ? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла : « Оба документа — и речь т. Жданова и постановление Центрального Комитета партии я считаю совершенно правильными ».

Молчание. По рядам прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание. Потом кто-то из них спросил : « Известно ли вам, что у нас пользуются большой популярностью именно те произведения m-ме Ахматовой, которые здесь запрещены ? » Молчание. Потом

(1) В. Саянов — поэт, критик.

(2) А. Дымшиц — литературовед, критик.

Все трое в 1954 году были членами Правления Ленинградского Отделения Союза Писателей.

кто-то из русских сказал переводчице : « Спросите их, почему они хлопали Зощенке и не хлопали Ахматовой ? » « Ее ответ нам не понравился » или как-то иначе — « нам неприятен ».

А мне было неприятно, что наши тоже стали называть меня « m-me Ахматова ». « Товарищ Ахматова » или даже Ахматкина гораздо лучше. В « m-me » заключена смрадная мысль, будто существует некто m-r Ахматов...

Таков был ее рассказ, повергнувший меня в смятение. Что же эти англичане — дураки или негодяи ? Зачем им понадобилось трогать руками чужое горе ? Людей унизили, избили, а они еще спрашивают : « нравится ли вам, что вас избили ? Покажите нам ваши переломанные кости ! » А наши-то — зачем допустили такую встречу ? Садизм.

От повествования Анны Андреевны у меня всё заныло внутри. Я вспомнила ясно день 14 августа 1946 года. Я была в квартире одна, раскрыла газету, прочла и села плакать.

Я сказала об этом ей.

— Да, мне все сообщают про эту минуту — где, кто, когда прочел в газете или услышал по радио постановление 46 года, — как, помните, все рассказывали друг другу в сорок первом, где, кого, когда и при каких обстоятельствах застигла весть о войне. Какая была погода, что он в эту минуту делал...

В столовой раздался телефонный звонок. Никто не подходил. Я подошла.

— Это вы, Анна Андреевна ? — спросил Борис Леонидович.

— Нет, Борис Леонидович, это Лидия Корнеевна.

— Наконец-то я вас слышу ! Вы еще не уходите ? Не уходите, пожалуйста, я через полчаса на 10 минут зайду.

Этого получаса я не помню.

Он пришел. В присутствии их обоих, как на какой-то новой планете, я заново оглядывала мир. Комната :

столик, прикрытый потертым платком; чемоданчик на стуле; тахта не тахта, подушка и серое одеяло на ней; ученическая лампа на столике; за окном — нераспустившиеся ветви деревьев. И они оба. И ясно ощущаемое течение времени, как будто сегодня оно поселилось здесь, в этой комнате. И я тут же — надо уйти и нельзя уйти.

Комната наполнена его голосом, бурным, рокошующим, для которого она мала. Голос прежний, да сам он не прежний. Я давно не видала его. Всё, что в нем было восторгом, стало страданием. «Август» :

То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом...

Голос прежний, нетронутый, а он — тронут, уже тронут... чем? болезнью? горем? Его новый вид и смысл пронзает мне сердце. Никакой могучей старости. Измученный старик, скорее даже старичок. Старая спина. Подвижность, которая еще недавно казалась юношеской, теперь кажется стариковской и притом неуместной. Челка тоже неуместна. И курточка. А измученные, исстрадавшиеся глаза — страшны.

«Его скоро у нас не будет», — вот первая мысль, пришедшая мне на ум.

Войдя, он снял со стула чемодан, сел и сразу мощным обиженным голосом заговорил о вечере венгерской поэзии, устроенном где-то за Марьиной рощей, нарочно устроенном так, чтобы никто из любящих не мог туда попасть; афиши были, но на них стояло «вход по билетам», а билеты нарочно разослали учащимся ВТУЗ'ов, которым неинтересно.

— Вечер из серии: «лучше смерть» — сказала Анна Андреевна.

— Да, да, и они роздали свояченицам...

Но бросаю — пересказывать речь Пастернака нет возможности, и я не берусь, это не Анна Андреевна. В его монологе были Ливанов, юбилей, Тихонов, куче-

ра с ватными задами, вечер « Фауста » в Союзе Писателей, где он, Борис Леонидович, заплакал, читая сцену Фауста с Маргаритой. И многое, многое еще, чего и пытаться не могу воспроизвести. Да и слушала я плохо, такую я чувствовал острую жалость к страданию, глядящему из его глаз.

Я спросила, как роман. Он сказал, что сейчас на несколько дней отложил роман, потому что занят срочной работой: переделывает « Фауста » для охлопковского театра. И стал объяснять нам, как именно он его переделывает.

Когда Пастернак ушел, Анна Андреевна по своему обыкновению прилегла на постель. Помолчав, она заговорила о славе.

— Я сейчас много об этом думаю, и я пришла к твердой мысли, что это мерзость и ужас — всегда. Какая гадость была Ясная Поляна! Каждый и все, все и каждый считали Толстого своим и растаскивали по ниточке. Порядочный человек должен жить вне этого: вне поклонников, автографов, жен-мироносиц — в собственной атмосфере.

О Борисе Леонидовиче сказала:

— Жаль его! Большой человек — и так страдает от тщеславия.

Мне показалось, она неправа. Разве это непременно тщеславие? У него видимо творческое кровообращение нарушено от насильственной разлуки с аудиторией. Слушатели, читатели ему видимо необходимы.

— Разлучить Пастернака с читателями — это, разумеется, преступление, — сказала Анна Андреевна, — но он-то почему не умеет извлечь из этой разлуки новую силу? Для своей поэзии?

Нас позвали чай пить. На время это смягчило остроту моей тревоги. Ардов изображал зятя-грузина: « Дорогая мама, я только сейчас осознал, что вы приехали ». После чая Анна Андреевна показала мне штапельное полотно, купленное ей сегодня Ниной Ан-

тоновной. Очень красивое. От усталости и потерянности я сидела слишком долго.

Анна Андреевна собирается в Болшево.

На ее письма и заявления ответа нет.

Сейчас я лягу. Ночь. Два часа ночи. Но вряд ли мне удастся уснуть. Строки «Поэмы», которые я не могу вспомнить. Глаза Пастернака. Что будет с Зощенко? Слова Ахматовой на собрании. Все это на меня наезжает. Все это от меня чего-то требует — только я не знаю, чего.

15 мая 1954

Сегодня разговор с Анной Андреевной о Есенине.

С утра она звонила, что вечером придет. Но вечером звонок: не приду ли я? Она нездорова.

Лежит... Тревожится за Михаила Михайловича. Сколько уже раз видела я скорбь и тревогу на этом лице.

Я подняла с полу какую-то книжку, упавшую с подоконника. Оказалось — Есенин.

— Ни я, ни вы — мы его не любим, — сказала Анна Андреевна. — Вы давно не перечитывали? Я перечла. Не люблю по-прежнему. Но понимаю, что это сильно действующая теноровая партия. Известному кругу людей он заменил Надсона.

Я сказала, что мне нравились есенинские стихи 40 минут в жизни: когда на одном ленинградском вечере он сам читал их. А потом опять — нет.

— Я выступала с ним вместе раза три, — сказала Анна Андреевна. — Но не запомнила, как он читает. Мы тогда друг друга не очень-то слушали.

— А как вы думаете, — спросила я, — если бы он не погиб, быть может и выработался бы из него настоящий поэт? Ведь было же в нем что-то? Перестал бы перепевать Блока — переключившись на блоковский оркестр на одну струну — съехал бы со своей единственной темы...

— Не знаю. Не думаю, — ответила Анна Андреевна. — Слишком уж он был занят собой. Одним собой. Даже женщины его не интересовали нисколько. Его занимало одно — как ему лучше носить чуб : на правую сторону или на левую сторону ?... Но для большого круга людей он заменил Надсона.

Имя Надсона сразу вызвало у меня в памяти его невесту, М.В.В., которую я знала уже старушкой. Я запомнила на всю жизнь : летом, не то 19-го, не то 20-го года, в голод, когда мы жили на станции Ермоловка, в помещении бывшей гостиницы, которую Петроградский совет предоставил на лето литераторам — меня послали на кухню вскипятить чайник; там, над своей керосинкой, стояла М.В. — в пальто вместо халата — и беседовала с кушаньем, шипевшим у нее на сковороде. « Не хочешь быть котлеткой, — говорила она, размешивая что-то на сковороде, — будь кашкой, будь кашкой ! »

Анне Андреевне не понравились мои анекдоты.

— М.В. очень тронула меня однажды, — сказала она. — В Доме Литераторов был объявлен вечер новой поэзии. Стоял там бюст Надсона. М.В. сказала мне : « Я хочу унести его отсюда, а то они могут его обидеть ».

17 мая 1954

Третьего дня много часов, почти целый день, провела у меня Анна Андреевна. Отдыхала, чуть-чуть спала, обедала. Перелистывала том « Художественного Наследства ». Доложила две новости в пушкиниане — две находки : письмо Волконской к Вяземской о стихотворении « На холмах Грузии лежит ночная мгла » и письма Карамзиных в Париж к Андрею Николаевичу в 1836-37 гг.

— Письма Карамзиных накануне и после дуэли, — это сенсация — сказала она... — Это может многое переменить и разрушить.

В «Художественном Наследстве» она долго разглядывала портрет Андреевой (1905 г.):

— Какая она тут красавушка! (1). Это мои старшие сестры в то время такие были: загадочные, стройные...

Сказала о Шаляпине, рассматривая его портрет:

— Я поняла главный недостаток подобных людей: Есенин, Шаляпин, Русланова... Они самородки. И тут слово *само* сыграло с ними скверную шутку. У них есть всё, кроме самообуздания. Относительно других они позволяют себе быть какими угодно, вести себя Бог знает как.

Когда она отложила «Наследство», я спросила, не слышно ли что о ее книге?

А спрашивать было нельзя. Она сразу сделалась сердитой и печальной.

— Может быть, единственное хорошее, что случилось со мной в этом году, — сказала она — это, что книга не вышла. Вы и еще человек 10 читателей, знающих всё, мною написанное, любили бы и ее, восстанавливая в уме все пропуски. Но те, кто читал бы впервые... Полное разочарование, полное... И были бы правы: «у нас столько несчастий, столько событий, а она всё сидит в своем болоте и размышляет о любовных происшествиях и собственных косах».

У меня так и защемило сердце от этих слов. Хотя я и не верю в разочарование читателей (самый урезанный ахматовский сборник все равно окажется собранием шедевров), но я разделяю ее возмущение и ее боль: что это за Ахматова без «Поэмы», без . . . (2) и многих других. Как истинно великий поэт, она жила и живет всеми скорбями времени, щедро на них отзываясь, но этот отзвук заботливо глушит попечительное начальство.

(1) М.Ф. Андреева — «Художественное Наследство», т. 2, «Репин», стр. 277.

(2) «Реквиема».

Я ее попросила прочесть мне некоторые стихи, слышанные мною от нее когда-то в Ленинграде. Хотелось еще раз услышать их из ее уст, да и память свою проверить: нет ли утруски, утечки? Она прочитала два (1). Оказалось, помню точно.

Увидим ли мы когда-нибудь эти стихи напечатанными?

Вряд ли. Для этого нужна слишком длинная жизнь.

Мы заговорили о наших погибших. И о тех, кто еще, быть может, жив и вернется. Какая будет встреча. И о неизвестных могилах — не зная их, так трудно жить.

И еще говорили об одной категории людей. Я задала ей вопрос, который меня очень занимает: кто они социально? по своему происхождению? (2) Если обобщить?

— Социально — не знаю. По-разному это бывало, наверно. Но вот о чем я думаю: Раскольников после уже ничего не мог. Только броситься на кровать одетым и так лежать. Больше ничего. Не мог и не хотел. А этим хотелось, вернувшись с «работы», увидеть жену в новом платье и чтобы у дочки — бант в волосах...

26 мая 1954

Заезжала к Анне Андреевне. Она вялая, полубольная. Рассказывала про Аничку, дочку Ирины. Я спросила Анну Андреевну, почему в той семье ее называют Акүма.

— Правильнее было бы Акума, — отвечала она. — По-японски это значит Злой Дух. Так меня называл Володя Шилейко. И Николай Николаевич один раз так

(1) «И вот, наперекор тому» и «Немного географии».

(2) Речь шла о следователях сталинского времени.

назвал в телеграмме. За ним стала называть Ирина. И вот теперь Аничка.

31 мая 1954

Вчера весь день лежала пластом: ни читать, ни писать. Боясь мозговой спазмы, старалась не двигаться. По случаю парада (1), дом наш, как всегда, оцеплен. Но вечером, к счастью, пройти уже можно было, и пришла Анна Андреевна. Принесла розы. Пришла пешком и ушла пешком — очень трогательно. Был салют; под моими окнами гулянье; колеблющиеся огни в стеклах. Анна Андреевна какая-то затуманенная, будто не в себе, хотя спокойная, ровная. Говорила, что в страшном состоянии Борис Леонидович, что он звонил ей с безумной речью, а потом пришел, — торжественный, горький.

29 августа 1954

Навестила в Голицыне (2) Анну Андреевну.

Она внизу, в просторной светлой комнате; Нина Антоновна наверху, в маленькой. Обе были мне, кажется, рады.

Анна Андреевна спокойная, красивая. Чувствует себя хорошо. За окном зелень. Лежа на кровати возле окна, читает по-английски детективный роман. Объясняет мне:

— Говорят, это очень полезно для языка. Тут и быт, тут и светская жизнь.

Мы втроем пошли в лес. По дороге Анна Андреев-

(1) 30 мая 1954 года в Москве на Красной площади состоялись: «Парад и демонстрация представителей трудящихся в честь всенародного праздника 300-летия воссоединения Украины с Россией». «Правда», 31 мая 1954 г.

(2) Голицыно — дачное место в 47 км от Москвы, где расположен один из «Домов Творчества» Союза писателей.

на указала мне домик, где живет и болеет Александр Николаевич Тихонов (1).

— Тишенька! — сказала она. — Я хотела его навестить, но мне отсоветовали: говорят, он уже не в своем уме и меня все равно не узнает.

Нина Антоновна вдруг вспомнила, что забыла позвать меня ужин, ахнула и поспешила обратно.

Мы вошли в лес. Лес не лес, — так, дачный перелесок, — но высокие хмурые ели. Анна Андреевна села на вывернутый корень, прислонясь спиной к стволу, а я на пенек. Она рассказала, что вчера ходила на похороны Оболдуева (2).

— Все пошли — и я. Благинину я не знаю, но она была тронута, обняла меня и поцеловала. Я заметила, что вдовы, самые безутешные, всегда видят и помнят, кто был на похоронах. Значит и бывать надо, и письма писать надо — исполнять всё. Я Оболдуева не видала живым, но вчера, глядя ему в лицо, снова поняла: смерть — это не только горе, но и торжество и благообразие. Когда я узнала, что умерла Ольга (3), я, конечно, была опечалена. А утром проснулась и думаю: « что это мне вчера хорошее сказали про Олю? »

(1) Александр Николаевич Тихонов (Н. Серебров), — автор воспоминаний о семилетии 1898-1905, о Чехове, Савве Морозове, Комиссаржевской. До выхода этой книги в свет («Время и люди», М., Гослитиздат, 1955), А.Н. Тихонов был в литературных кругах известен главным образом как друг и помощник Горького, организатор, издатель, редактор; А.Н. Тихонов играл большую роль в созданном Горьким после революции издательстве «Всемирная Литература», а также в журнале «Русский Современник», где печатались Замятин, Зощенко, Ал. Толстой, А. Эфрос, Ю. Тынянов, К. Чуковский — и Анна Ахматова; позднее А.Н. Тихонов работал в издательствах «Федерация» и «Academia», а во время войны — в издательстве «Советский Писатель», выпустившем книжку: Анна Ахматова, «Избранное», Стихи. Ташкент, 1943.

(2) Георгий Николаевич («Егор») Оболдуев — поэт и переводчик; муж Е.А. Благининой.

(3) Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина. Скончалась в Париже в начале второй мировой войны.

Было видно, как по минскому шоссе в тучах пыли летят машины.

— Пыль, какая она издали красивая, — сказала Анна Андреевна. — И посмотрите — золото на небе, словно на иконе... В машине сидя, отвратительно чувствовать пыль, а поглядеть издали — какое счастье.

У нее в самом деле в эту минуту было счастливое лицо. Она не спускала глаз с шоссе. Пыль, пронизанная солнцем, плыла золотыми и розовыми клубами.

Вернулась Нина Антоновна и тоже устроилась на пеньке. Она стала расспрашивать Анну Андреевну о перипетиях в детективном романе. Какое-то murder.

Среди деревьев, колыхаясь, бродили гуси. Один подошел к нам близко.

— Это мой знакомый гусь, — сказала Анна Андреевна. — У него вместо головы что-то неприличное.

— Сейчас он начнет браниться, — предупредила Нина Антоновна.

И верно — гусь вытянул свою мерзкую голову и с большим ожесточением нас выбралил: каждую в отдельности и всех вместе. Потом удалился.

Мы пошли домой. После прогулки Анна Андреевна ненадолго прилегла. Взяла с подоконника и протянула мне толстую книгу: «прочтите-ка тут первый абзац».

Это был том из собрания сочинений Веры Фигнер. Я прочла:

«В прошедшем, 1921, году, Россия понесла две тяжелые утраты: в феврале скончался Кропоткин, а в декабре — Короленко» (1).

— А в августе Блок, — сказала я. — И Гумилев. Она забыла.

— Да, в августе Блок, — повторила Анна Андреевна. — Она не забыла, для нее Блока просто не было.

(1) Почти точная цитата из речи Веры Фигнер в первую годовщину смерти П.А. Кропоткина. «П.А. Кропоткин и В.Г. Короленко». — Вера Фигнер, «Полное Собрание Сочинений в 7 томах», 2-ое издание, М. 1932, т. 5, стр. 459.

И не только для нее. Целый слой неинтеллигентной интеллигенции, глухой к стихам.

Анна Андреевна надела красивое черное платье, и мы пошли ужинать. За столом все на нее смотрели. Я тоже глянула, как впервые, на ее профиль под белизной седины, осанку, руку. Рядом с ее лицом опять все лица показались мне неопределенными, невыраженными.

После ужина Анна Андреевна проводила меня до калитки, а Нина Антоновна до самого вокзала. Оказывается, И.Р. говорит, что, глядя на Анну Андреевну, она перестала бояться старости.

И напрасно, подумала я. Такое дается не всем.

14 января 1955

В день моего приезда (1) сразу мне позвонила Анна Андреевна. Я хотела пойти, но прорваться сквозь 42 листа корректуры нечего было и думать. Я вырвалась только 12-го, во вторник. Жаль, она в беде — и в одном из худших своих состояний. Слабая, несчастная, раздраженная; волосы неприбраны; из-под пышного халата на груди торчит ночная рубашка. Не спала три ночи. Судьба немилосердна к ней: горе горем, а тут еще какие-то злые сплетни, терзающие хуже настоящего горя. Всё это лишнее, все это ей не под силу. Ее больному сердцу.

Выговорилась — и стала спокойней. Прочитала переводы: с китайского и из Райниса. Китаец великолепен, а Райнис скучен, вял: ординарен.

Рассказывала о съезде.

— Ко мне подходили поэтессы всех народов. А я чувствовала себя этакой пиковой дамой — сейчас которая-нибудь из них потребует: «три карты, три карты, три карты».

(1) Я провела полтора месяца в Голицыне (когда там А.А. уже не было); вернулась в Москву 9/1/55 г.

Рассказала новеллу :

— Сижу один раз со Шварцем в нашем ресторане. Обедаем (1). К нашему столику подсаживается Г. : « Анна Андреевна, разрешите представить вам моего зятя ». « Пожалуйста ». Ушел за зятем, возвратился : « Анна Андреевна, он говорит, что ему неохота знакомиться с контрреволюционной поэтессой ». Я ответила ангельским голосом : « Не огорчайтесь, С.М., зятя — они все такие ». Не правда ли, я его перехамила?... Через несколько дней, я, чтоб похвастать, рассказала всю историю Эренбургу. Он спрашивает : « а что же Шварц? неужели ни слова? это недостойно мужчины. Я бы Г-му так ответил, что он костей бы не собрал ». Я сказала : « не могу же я, на случай возможного хамства, всегда водить с собою Эренбурга. Слишком большая роскошь ».

И еще одно веселое сообщение :

— Вышла « История литературы », издание Академии Наук, 1954. Там про меня говорится, что я мещанская поэтесса... (2).

Я спросила, кто написал статью.

— В. Он давно обо мне пишет... Когда-то в Ленинграде, в Пушкинском Доме, я читала свое исследование о « Золотом Петушке ». Слушали меня пушкинисты. Когда я кончила, подошел В. Он сказал, что давно изучает мою биографию и мое творчество и хотел бы зайти ко мне, чтобы на месте ознакомиться с материалом. А я ни за что не желала его пускать. « Они, — сказала я, кивнув на пушкинистов, — жизнь

(1) Делегаты Съезда писателей, размещенные в гостинице « Москва », получали завтраки, обеды и ужины в тамошнем ресторане. Евгений Львович Шварц был членом той же делегации, что и А.А. — Ленинградской — и жил в одном коридоре с ней.

(2) « Многие стихи Ахматовой воспринимаются как интимный мещанский дневник » — см. « История русской литературы », изд. АН СССР, М-Л, т. 10, 1954, стр. 776.

свою тратят, чтобы найти материал, а вы хотите все получить сразу».

Я спросила, как этот В. выглядит.

— Совершенная горилла. Похож на гориллу до такой степени, что непонятно, как могли ему выдать паспорт. В мохнатую лапу.

По дороге домой я размышляла о слове «мещанство». Им пользуются, не определяя смысла. Тамара (1) определяет так: тот слой населения, который лишен преемственной духовной культуры. Для них нет прошлого, нет традиции, нет истории, и уже конечно нет будущего. Они — сегодня. В культуре они ничего не продолжают, ничего не подхватывают и ни в какую сторону не идут. Поэзия Ахматовой, напротив, вся воплощенная память; вся — история души, история страны, история человечества; вся — в основах, в корнях русского языка. У мещанина ж и языка нет, у него в запасе слов 300, не более; да и не основных, русских, а жаргонных, сегодняшних...

21 января 1955

Вчера была у Анны Андреевны. И очень огорчилась. Ею.

Приехала Эмма Григорьевна, мы все пили чай у Нины Антоновны. Нина или Эмма, не помню, как-то небрежно отозвались о переводе «Дон Жуана». Анна Андреевна рассердилась. И произнесла речь — столь же гневную, сколь несправедливую:

— Кто сказал, что байроновский «Дон Жуан» хорош? А все кричат: «Ш. перевел неблагозвучно». Я читала подлинник 40 раз — это плохая, даже безобразная вещь — и Ш. здесь не при чем. Байрон эпатировал читателей и нарочно сделал вещь неблагозвучной. К тому же постельные мерзости — во множестве.

(1) Тамара Григорьевна Габбе.

При чем тут Ш. ? У Байрона там только и есть хорошего, что одно лирическое отступление.

Я знаю английский слишком слабо и судить о качестве байроновских стихов не могу. Не могу почувствовать, эпатировал ли он, не эпатировал. Но Ш. плох безмерно, у него « Дон Жуан » вообще не стихи, а корявая проза. И не только « Дон Жуан ».

Я сказала это Анне Андреевне, но она не вняла и продолжала бранить тех, кто бранит Ш.

Непонятно и неприятно.

Эмма Григорьевна простилась и ушла. Анна Андреевна увела меня к себе. Сказала, что работает сейчас очень много, переводит корейцев и сильно устает.

— Сажусь с утра. Это легче, чем китайцы : без рифм, но все-таки трудно. Иногда идет, будто само, съезжаешь, как на салазках. Но зато потом стоп — и стоишь, стоишь...

Внезапно, среди разговора, она быстрым движением открыла чемоданчик, вынула оттуда листок и положила передо мной на стол. Я прочла :

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит...

— Узнаете ? — спросила Анна Андреевна, глядя на меня в упор.

Я узнала : первые строки « Подвала памяти » !

Теперь « Подвал » восстановлен весь, целиком...

Я ушла счастливая, забыв про Ш.

6 февраля 1955

На днях у меня Анна Андреевна. Привезла в подарок китайца (1). Бледная, отекая — тяжело

(1) Цюй Юань. Стихи. ГИХЛ, М., 1954. Дарственная надпись сделана 2 февраля 1955.

даются ей китайцы! Да если бы только труд... Мне в тот день нездоровилось тоже, слушала я ее плохо, сразу не записала, и потому сейчас записываю немногое.

Анна Андреевна потрясена смертью Лозинских. Говорит о ней с умилением, с гордостью.

— Величественная кончина! Завидная. Он умер, не зная, что она умирает (1). Что ж! Дети у них пристроены, только внуков жаль... Какие люди!

Потом рассказывала об «эфирной Ахматовой» (2).

— Уму непостижимо, что вытворяет в эфире эта дама!

14 апреля 1955

Только что от Анны Андреевны. Она приехала сегодня утром. Привезла оконченную работу: корейцев. Теперь ей предлагают «Тимона Афинского». (Когда же предложат Ахматову?) Я ее застала лежащей, она больна и мрачна. В руках — новая книжка Л.

Анна Андреевна недовольна — и Л., и книжкой.

— Л. мне звонила много раз, — и каждый раз одно и то же: «хочу к вам прийти, но не могу — не стою на ногах». Однако в те же дни она ходила по делам, в издательства и выступала в Союзе. Значит, только для друзей она не стоит на ногах.

Я сказала, что прочла поэму Л., и мне очень не понравилось, интонация какая-то противоестественная.

— А я не прочла, — отозвалась Анна Андреевна. — Эта вещь сама не дает себя читать. Фальшивый звук. Я не могла бы ее прочесть, даже если бы мне платили по 18 рублей за строчку.

(1) Михаил Леонидович Лозинский скончался 31.1.55 г.; жена его, Татьяна Борисовна, приняла яд. Они умерли, и их похоронили в один день.

(2) До А.А. дошли слухи об ее успехах в эфире — то есть о передачах иностранного радио, посвященных ее творчеству и трагической судьбе.

Ардов позвал нас чай пить. За столом Нина Антоновна, Наташа Ильина и мать Виктора Ефимовича. Тут же в столовой мелькают Миша и Боря. Приносят чай, приходят и уходят, двоятся и превращаются в других: у них гости. Боря, Мишу и Алешу (1) я помню маленькими, еще в Чистополе; пресмешные ребятишки, мал мала меньше — лесенкой; теперь это большие, красивые мальчишки, и они мне по душе, потому что чувствуется, что они любят Анну Андреевну, и ей с ними хорошо. Причесавшись и надев красивый халат, вышла в столовую и она. Разговор был общий, то есть никакой, Анна Андреевна молчала. Рассказала впрочем о своих корейских переводах: Холодович, редактор книги и заведующий кафедрой, прочитал их студентам. Корейцы спросили: «А не было это уже в "Anno Domini?"»

— Для переводчика — дурной комплимент, — добавила Анна Андреевна, — но я польщена.

Потом она снова увела меня к себе. Рассказала, что Смирнов предложил ей для перевода «Двенадцатую ночь», и она с негодованием отказалась.

— Вы, кажется, забыли, кто я!... Над свежей могилкой друга я не стану... У меня это не в обычае (2).

Сама она всегда помнит, кто она. Сквозь все унижения и все переводы.

22 апреля 1955

Как-то на днях, когда мне можно было не ехать в Переделкино, меня позвала Анна Андреевна, и мы целый вечер читали японские стихи.

(1) Миша и Боря — Ардовы; Алеша — Баталов; сын Нины Антоновны от первого брака, известный киноактер и режиссер.

(2) «Двенадцатая ночь» была переведена М. Лозинским (см. Вильям Шекспир, «Полное собрание сочинений», под общей редакцией С.С. Динамова и А.А. Смирнова. Academia, М.-Л., 1937.).

Голос в телефонной трубке показался мне бодрым, радостным. По этому случаю, пока я шла через мост, я нянчилась с такой мыслью — Анна Андреевна сама откроет мне дверь и еще в передней скажет: «Леву освободили». Но нет, я все это придумала. Ничего нового. На последнее заявление (Струве(1), Эренбург) ответа нет. Анна Андреевна удручена. Куда еще идти? Кого еще просить? Куда писать?

Лежит — у ног грелка — в руках красненькая книжечка: «Японская поэзия». Читала мне вслух сама и меня просила читать. Все стихи из одного отдела: «позднее средневековье». Книга только что вышла (2).

— Правда, дивные? По любому счету — самого первого класса.

Это правда. Мы с упоением, по очереди, читали стихи японцев вслух, передавая книгу друг другу и выискивая всё новые чудеса. (Переводы Марковой).

Вот что я запомнила:

Первый снег в саду.
Он едва-едва нарцисса
Листики пригнул.

Или:

Нищий на пути.
Летом весь его покров —
Небо и земля.

Или:

И поля и горы —
Снег тихонько все украл —
Сразу стало пусто.

(1) Академик Василий Васильевич Струве — востоковед.

(2) «Японская поэзия». Сборник. Перевод с японского. ГИХЛ, М., 1954. Составители и переводчики А.Е. Глускина и В.Н. Маркова. Вступительная статья Н.И. Конрада.

Эти три прочитала мне Анна Андреевна и спросила, могу ли я определить, в чем тут прелесть? Чем это так хорошо?

— Все это увидено и сказано в первый раз, — попыталась я. — Какое-то сочетание первозданности с изысканностью. И как всё точно. И похоже на рисунки.

— Теперь мне кажется, что мои переводы корейцев плохи, — сказала Анна Андреевна.

Просила читать еще.

Я прочитала :

Тáк кричит фазан,
Будто это он открыл
Первую звезду.

И еще одно :

Верно, в прошлой жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка.

И еще :

На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер.

Лучшие, пожалуй, — « фазан » и « нищий ». Кажется, будто их сочинила чеховская девочка — та самая, которая сказала : « море было большое ». У Мандельштама где-то написано : « Как детский рисунок просты » (1). Да, эти стихи чем-то похожи на детские рисунки.

(1) Строка из стихотворения О. Мандельштама « Ты красок себе пожелала »... (Цикл « Армения »).

Анна Андреевна снова взяла у меня книжку из рук.

— По чьей-то серости, — сказала она — тут иногда переводчики пускаются в рифмовку, хотя у японцев рифм не бывает. Серость и тупость. Сразу огрубляется, опрощается стих. В собственных стихах рифма — крылья, а в чужих, когда переводишь, — тяжесть. Здесь же это и совсем ни к чему !

Она засунула книгу в тумбочку.

Потом сказала :

— Известно ли вам, что я родилась в один год с Гитлером ? Но не пугайтесь : в этом же году родился Чаплин. Год двоякий.

Она потянула к себе со стола книгу Садуля о Чаплине и прочитала вслух два отрывка. Книга ей сильно не нравится.

Заговорили о Хемингуэе. Анна Андреевна объявила, что не любит у него рыбной ловли, а я, при этих словах ,сразу же схватилась за губу.

— Ах, я вижу ? — сказала Анна Андреевна — вы тоже понимаете, каково рыбам ? Крючок впивается им в губу ! Это еще хуже, чем охота, о которой пишут столь поэтично и несут домой окровавленных птиц...

Я сказала, что ни она, ни я прелести охоты понять не можем : чтобы любить охоту, надо быть мужчиной.

— Вы ошибаетесь, — с некоторой даже торжественностью ответила Анна Андреевна — многие мужчины думают так же, как мы.

Я переменяла ей грелку у ног. Она пожаловалась, что чувствует себя очень плохо :

— Мне предлагают работу, а я не могу ее взять, просто не в силах, — сказала она.

Я спросила, не собирается ли она в Болшево ?

— Нет, нет. Не с моими нервами. Я слишком хорошо изучила и санаторий и себя. Я не персонаж для санатория.

26 апреля 1955

Анна Андреевна прочитала «Старика и море». По этому случаю последовал монолог о Хемингуэе:

— Нет, книга мне не понравилась. Я читала и думала: Мне бы ваши заботы, господин учитель». Ведь это он сам и его дама появляются в конце, с их позиции всё и написано... Всё такое надмирное... В «Прощай, оружие!» ему было что сказать — свое, категорическое, а тут — нет, не слышу. Больше всего я люблю у него «Прощай, оружие!» и «В снегах Килиманджаро»... А вы заметили — он совсем не американец? Он европеец, парижанин, кто хотите. У него и Штатов почти нет, всё больше другие страны. И вы заметили, какие в его вещах все люди одинокие — без родных, без родителей? В «Прощай оружие!» говорится про кого-то: «у него даже был где-то отец». Полная противоположность Прусту: у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки.

Сегодня Анна Андреевна живее, бодрее немного. Даже не лежит.

Дальше случилось смешное происшествие, которое, между прочим, показало мне, что Анна Андреевна, несмотря на болезнь, сильна и находчива.

Ее позвали к телефону. Она ушла и говорила довольно долго. Я взяла книжку Берггольц. И вдруг из-под кровати выскочила Лапа и вцепилась мне зубами в туфлю! Я громко закричала. Отталкиваю ее ногой, колочу по шее — держит. На мой крик вошла Анна Андреевна. Лапа мигом уползла под кровать. Тогда Анна Андреевна нагнулась, одною рукою за шкуру вытащила собаку из-под кровати (Лапа, повиснув у нее на руке, вся скорчилась от конфуза), шлепнула другою по спине и вышвырнула за дверь.

Все это она проделала в одно мгновение, гибко, сильно — и даже не задыхнулась.

Потом пришла не то портниха, не то просто какая-

то дама продавать ей летнее пальто. Одергивая на Анне Андреевне полы, она говорила :

« Только зад вам короток, а перёд в самый раз. Я как услышала «Ахматова», я прямо села. Ведь вот например Пушкин : «Зима, крестьянин торжествуя» — больше я ничего не помню. А ваши все стишки знаю наизусть. Про сероглазого короля очень красиво. Да, зад придется выпустить, а перёд в самый раз. Я у одной видела : вы на карточке нарисованы с челочкой, молодая, очень пикантно ».

6 мая 1955

Вчера наконец я опять провела вечер у Анны Андреевны. В майские дни она звала меня дважды : но я никак не могла к ней вырваться — то Переделкино, то люди, то прорва работы. Теперь и перед ней совестно, и сама себя обокрала.

Она встретила меня словами :

— Сегодня в Китае «День Поэзии». Праздник Дракона. Китайцы бросают в реку рис в честь Цюю-Юаня, который утонул.

Помолчав, рассказала :

— Видела я Бориса Леонидовича. Грустно. Он стареет и даже как-то дряхлеет. Выглядит очень дурно. Кончает роман. После такой напряженной работы нужна отдача — а будет ли она? Страшная у него жизнь. Представьте себе, он не слышал до сих пор о смерти Лозинского! Где же он живет, кого видит? Наверное, одного Ливанова.

Когда я передала ей с чужих слов, что Борис Леонидович, для предполагаемого одноклассника, собирается исправлять ранние стихи — например, «Ужасный! — Капнет и вслушается...» — она всплеснула руками, а потом произнесла тихо, отдельно, медленно :

— Это вершина русской поэзии. Классика XX века... Борис — безумец.

Потом мы пили чай вместе с Ардовым. У него

возле прибора стоял волшебный китайский гусь, который сам пьет воду. Виктор Ефимович между прочим упомянул, что пьесу А.Б. помог построить Файко, и что кому-то из сценаристов помог дотянуть сценарий Коварский.

— Кажется, только я одна сама написала свою «Белую Стаю», — сказала Анна Андреевна и увела меня к себе.

Не помню по какому поводу, я позволила себе посмеяться над давешней ее поклонницей-портнихой.

— По правде сказать, — призналась мне Анна Андреевна, — я рада была тогда, что вы ушли. Мне казалось, вы ее сейчас ударите. Но не беспокойтесь, пожалуйста, не все мои поклонники в ее роде. Попадают и совершенно особенные. Есть один в Ленинграде, инженер по турбинам. Любит мои стихи. Когда он защитил диссертацию, друзья подарили ему все мои книги. Так вот, у него был однажды билет в Филармонию, но узнав случайно, что и я в этот вечер должна быть там, он заявил, что не пойдет: «я не имею права находиться под одной крышей с нею, я того не стою». Вот какие у меня бывают поклонники!

Когда мы заговорили о романе, над которым работает Наташа Ильина, Анна Андреевна сказала:

— Трудный у нее материал. Она ведь пишет о том, чего нет и никогда не будет, и уже неизвестно, было ли. Это все равно, что месить тесто из облаков...(1).

Потом, когда я собралась уходить:

— Ну посидите еще десять минут. За это время я постараюсь привыкнуть к мысли, что вы уходите.

И вдруг вынула из чемоданчика «Поэму» и показала мне одно место. Я охнула, разглядев, что строка

(1) Роман Н. Ильиной «Возвращение» посвящен жизни русской эмиграции в Китае.

« Не выдавших казни очей » заменена другою : « Наших прежних ясных очей ».

— Анна Андреевна, это хуже ! — взмолилась я. — Та была очень важная строчка. Ведь это грань в каждой человеческой жизни : знаешь ли ты уже, что такое казнь, или нет.

— Непременно надо было заменить эту строку, — строго ответила Анна Андреевна. — Она давала повод к ложным толкованиям. Я читала множеству людей, убедилась. И не одна она — и другие строки и строфы.

Она быстро перелистывала « Поэму ». Передо мной мелькали вычеркивания и замены.

Я увидела на лету еще один разбой : вместо строки « Что глядишь ты так смутно и зорко » ? написано « печально и зорко ».

Я стала умолять Анну Андреевну оставить ее. Ведь это такое изумительное сочетание : « смутно и зорко » !

— Я все эти поправки сделала еще в прошлом году в один вечер, — торжественно произнесла Анна Андреевна. — И не спорьте, пожалуйста. Перестаньте.

Я перестала. Как же это можно менять : « смутно и зорко ! » Но я перестала. Я только попросила разрешения явиться с « Поэмой » на днях, чтобы перенести все вставки и поправки в свой экземпляр.

— Не переносить надо, а предыдущий экземпляр уничтожить, — сказала Анна Андреевна сердито. — Он уже никуда не годится.

10 мая 1955

Вечером вчера всё получилось неудачно. Анна Андреевна позвонила, когда у меня сидел гость, и просила прийти скорее, потому что она осталась одна в квартире и ей « неуютно ». Я же была связана. Когда же гость ушел и я, следом за ним, выбежала на улицу и сразу поймала такси, — то оказалось : салют,

Красная Площадь оцеплена, надо объезжать через Каменный Мост — новая задержка.

Ардовы были уже дома. Зря я неслась сломя голову.

Но не в этом дело. Главная неудача оказалась впереди.

Анна Андреевна, открыв мне дверь, ввела меня в свою комнату, села на кровать, я на стул. Вижу, письменный столик сегодня какой-то прибранный, расчищенный. И она чего-то ждет.

— Принесли? — спрашивает Анна Андреевна.

— Что принесла?

— «Поэму!»

Такая досада! Оказывается, я ее не поняла. Она ожидала, что я принесу свой экземпляр, и собиралась продиктовать поправки. А я не поняла и не принесла.

Анна Андреевна дала мне листы буваги и свой экземпляр. Я сразу потерялась в этом экземпляре, но все-таки переписала кое-что, с указанием, что куда. Переписала бы я и больше и толковее, но Анна Андреевна ждала нервно и меня торопила.

Ей хотелось рассказывать.

Она была в Доме Ученых, слушала еврейские песни Шостаковича и говорит о них с ужасом, даже с отчаянием. Не о музыке — о словах.

— Это предел бесвкусицы! Хуже этого я не слышала ничего. И люди слушают и не замечают! И он! Им не важно, какие слова!

Затем, по тому поводу, что Виктор Ефимович сказал о ком-то из общих знакомых: «это настоящий Гарун-аль-Рашид», Анна Андреевна произнесла целую речь. На свою любимую тему: о бессмысленности молвы людской.

— Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин. Он никогда никому ничего хорошего не сделал. А о нем все вспоминают с любовью... В исторических случаях

никакие поправки не помогают никогда. Вот, Виктор Ефимович помянул Гаруна-аль-Рашида. Он, видите ли, добрый, он спасал бедных и пр. Всё неправда! Он был на самом деле злодей, вешатель. Это установлено. Но уже ничего нельзя изменить. То же с Лукрецией Борджиа, только наоборот. Я читала книгу, в которой фактами доказано, что она не была ни отравительницей, ни развратницей. Но ведь это не помогло ее памяти. Нисколько!

По дороге домой я размышляла о ее словах. Почему так, в самом деле? Думаю, потому, что художество сильнее всего. У Герцена где-то написано: «Люди гораздо больше поэты и художники, чем думают». О Гаруне-аль-Рашиде, о Лукреции Борджиа созданы сказки, легенды. Сказку исследованиями и фактами не переборешь. Они все равно сильнее.

Разве что новой сказкой.

Ну, а случай с Кузминым? Тут уж что-то другое.

12 мая 1955

Анна Андреевна встретила меня сегодня радостным сообщением:

— Я подумала и уступаю вам смутно и зорко (1).

(Это я с утра пришла к ней со своим экземпляром «Поэмы». И она достала из чемоданчика свой. И мы уселись рядышком за расчищенный стол).

Осмелев от этой уступки, я сказала, что питаю вражду еще к одной новой строке:

А дурманящую дремоту
Очень трудно всем превозмочь —

(1) «Что глядишь ты так смутно и зорко» — эта строка в таком виде и сохранилась во всех вариантах «Поэмы».

то есть ко второй из них. Какая-то она прозаическая.

Анна Андреевна кивнула с неожиданной кротостью :

— Да, я это и сама собиралась исправить (1).

Показала мне несколько отступов, сдвигов, соединений и обозначила их своей рукой в моем экземпляре. Я ей заметила, что теперь, в новом варианте, придется убрать из предисловия проследние две строки — о « Посвящениях » (2) — потому что ведь теперь « Посвящения » перестали быть безымянными, она указала, кому что : « Первое посвящение » — Вс. Князеву, « Второе » — Судейкиной; а из объяснений надо снять « Георг — это Байрон », потому что в тексте теперь не « факел Георг держал », а « Байрон факел держал » (3).

И это она с готовностью посметила у себя.

Так беседовали мы поначалу очень мирно. А потом последовал взрыв.

Последовал он из-за « Лирического отступления » — из-за моей любимейшей Камероновой Галереи.

Анна Андреевна, перелистывая « Поэму », сказала :

— Этот кусок сниму совсем, а то его толкуют неверно.

Я глянула через плечо : она водила пальцем по Камероновой Галерее.

— Что снимете совсем ?

— « Мне бы только домой скорее
Камероновой Галереей ».

(1) И исправила :

А дурманящую дремоту

Мне трудней, чем смерть, превозмочь.

(2) Раньше прозаический кусок под названием « Вместо предисловия » кончался такими строками :

« Все это ни в какой мере не отменяет первоначальные НЕ УКАЗАННЫЕ посвящения, которые продолжают жить в « Поэме » своей жизнью ».

Имена к « Посвящениям » я переписала из экземпляра А.А. 9 мая 53 г.

(3) Скоро А.А. снова вернула Георга.

Я не поверила.

— Камеронову галерею выкинете?

— Да.

Безумие какое-то!... А еще бранит Бориса Леонидовича, что он собирается исправлять ранние стихи!

— Лучше снимите всю «Поэму» — сказала я, потеряв узду. — Это мое самое любимое место. Вершина вершин. Снимите все остальное, а это оставьте.

— Ах, так? — сказала Анна Андреевна. — А я-то думала, что вы любите «Поэму». Я ошиблась.

Я видела, что она не по-настоящему сердится и осмелилась говорить. Конечно, сказала я, вся «Поэма» целиком — «классика XX века», как сама она определила недавно стихи Бориса Леонидовича. Но есть в ней особо неприкосновенные строки. Я спросила, что она имеет против своего «Лирического отступления?»

Сегодня она добрая и сообразовала объяснить: во второй из трех камероновских строф поминается забытая могила (1), а это нельзя, потому что читатели путают ее с забытой могилой драгуна, героя поэмы.

— Но я подумаю, подумаю, — закончила она милосердно. — Кажется, я уже понимаю, как поступлю (2).

Когда мой экземпляр был приведен в порядок, и она уложила обратно в чемоданчик свой, — я попросила ее почитать мне Пушкина (3). Она согласилась.

(1)

Что над юностью встал мятежной
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон.
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила
Словно вовсе и не жил он.

(2) Поступила так: оставила весь кусок, но выкинула вторую строфу, чтобы могила Н. Недоброво, к которому обращены эти строфы, не путалась с могилой «драгуна» — в действительности гусара — Вс. Князева.

(3) Не Пушкина, а Ахматову, стихи 30-40 гг., «Реквием» и др. «Читала мне Пушкина» — так я зашифровывала чтение стихотворений из «Реквиема» в своих записях сталинского времени.

Читала много, щедро. Слушая ее голос, произносивший слова, которые я столько раз произносила сама, и про себя и вслух, и в постели, и в метро, и на улице, и в лесу, и в поезде, я боялась, что громко заплачу. Я опять стояла со всем пережитым лицом к лицу.

21 мая 1955

Сегодня с утра к Анне Андреевне. Она какая-то отсутствующая, смутная: смотрит — не видит, спрашивает — не слышит ответа. Непричесана, в туфлях на босу ногу, в ситцевом капоте. Думает что-то свое, а может быть продолжает — среди разговора — писать стихи. (Это с ней случается, я замечала.) Чувствуя ее «потусторонность», я хотела поскорее уйти, но она меня не отпустила. Нет, не стихи, оказывается, а вот что у нее на уме: она подумывает о поездке к Леве, о свидании с ним. Хорошо бы, но, я боюсь, в такое путешествие ее не пустит сердце.

Потом она всплыла на поверхность и стала поразговорчивее, расспрашивала меня о Дрезденской галерее, где я уже была и куда она собирается. Потом сказала, что в час дня к ней должен прийти редактор — внезапно позвонил и попросил разрешения прийти — наверное что-нибудь дурное случилось с ее корейскими переводами. (Хорошего она никогда не ожидает). Потом вынула из сумки письмо и протянула мне: «Прочтите!»

Письмо от поклонницы.

«Всю жизнь мечтаю Вас увидеть... Узнала, что Вы сейчас в одном городе со мной... Я не молода, одинока и феноменально застенчива. "Путь мой жертвенный и славный здесь окончу я"».

Оказывается, и у нее тоже славный и жертвенный путь.

— Это письмо я получаю с 1915 года, — сказала Анна Андреевна. — Сорок лет! Вчера получила еще раз. Его же.

Я вернула ей письмо с живым отвращением.

— И стихи пишет? — спросила я.

— Будьте спокойны! Одно, в виде взятки, посвящено мне, остальные, как полагается, ему Но это еще что! Мои современницы, я нахожу, гораздо хуже. У них уже склероз мозга, и они говорят невесть что. Недавно в Ленинграде я получила письмо от одной своей сверстницы. Сначала похвалы мне, тоже очень много цитат, а потом, черным по белому: «никогда не забуду тот дом на Пряжке, так и стоит он перед моими глазами, где» «в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем». Это она уже меня прямо в спальню к Блоку засовывает! Мне, конечно, все равно, хоть в Сандуновские бани, но зачем же врать? Я хотела было позвонить ей по телефону, но мне рассказали, что insult, я представила себе скрюченную ручку, скрюченную ножку — и отменила звонок.

— Я дала прочесть то письмо Тане Казанской, — продолжала Анна Андреевна. — Она очень острая дама. Прочитала и спрашивает: «Значит, это и есть слава?» — «Да, да, это и есть, и только это. И ничего другого».

Я напомнила, что существуют ведь и другие читатели.

— Да, пишут, конечно, худшие. Это известно.

Через четверть часа должен был прийти редактор. Я предложила Анне Андреевне переодеться, а сама ушла к Нине Антоновне. Спросила у нее, чем, по ее мнению, может быть вызван внезапный редакторский визит? «А ничем, — весело ответила Нина Антоновна — он просто хочет посмотреть на старуху. И более ничего. Уверяю вас».

В лиловом облачении в столовую вышла Анна Андреевна. Она ошеломила меня, сообщив, что Ленинградский Литфонд предоставил ей в Комарове дачу. Чудеса в решете! Ахматовой, а не Ардаматскому! Сколько там комнат, и какая она, дача, зимняя или летняя, Анна Андреевна «забыла узнать». Жить там

будут также Ирина Николаевна с дочерью. Когда дочь Ирины услышала эту новость, она спросила у Анны Андреевны :

— Акума, а ты будешь к нам приезжать ?

24 мая 1955

Вчера, в десятом часу вечера, позвонила Анна Андреевна и попросила срочно прийти посмотреть корейцев. Голос оживленный, добрый, нету ее обычного телефонного лаконизма; рассказала, что была у Николая Ивановича и он надписал ей книгу (1). Приехав, я застала ее в столовой, где Нина Антоновна укладывала чемоданы (едет с театром в командировку в Сибирь).

Анна Андреевна в сером платье, очень идущем к ее седине. Возбужденная, приподнятая, веселая. Рассказала о давешнем редакторе : он предъявил ей несколько требований и внес несколько самостоятельных стихотворных предложений.

— В общем он был в меру нагл, в меру почтителен, в меру глуп, — сказала Анна Андреевна — но кое-где наглость вышла из берегов... Я умоляю вас, Лидия Корнеевна, — она сложила руки у груди — прочитайте и переводы, и пометки редактора, придирайтесь ко всему и посоветуйте, как быть. Вы окажете мне благодеяние.

Конечно, после таких неуместных слов я должна была бы наотрез отказаться. Но, не знаю, вышла ли из берегов моя наглость, или я привыкла слушаться Анну Андреевну — но я покорно последовала за ней в ее комнатнушку. Там, на столике, уже были приготовлены корейцы (2) и чистые листы бумаги. Анна Ан-

(1) Повидимому, « Судьбу художника » (повесть о Федотове). Изд. « Советский Писатель », 1954.

(2) У меня не помечено и я не помню, была ли это еще машинопись или уже корректура.

древенна ушла и оставила меня одну. На полях пометки редактора: «слабовато», «следует пересмотреть»; в одном месте им предложена строка собственного изделия: «Вдруг сразу он»...

Я читала часа два. Сквозь чтение, как будто сквозь сон смутно слышала разговоры в столовой: пришла Наташа Ильина, вернулся с концерта Ардов; Анна Андреевна что-то рассказывала, и все смеялись. Конечно, работала я не так, как надо: нельзя такую уйму стихов читать подряд и без перерыва. Но старалась я изо всех сил, читала вслух, возвращалась к уже прочитанному. Кончила, извлекла Анну Андреевну из соседней комнаты, и мы опять сели рядышком за стол. Мне очень трудна ее быстрота. Она понимает мгновенно и мгновенно решает. (Как тогда мигом вытащила и выбросила Лапу). Кое-что из моих предложений она сразу отвергла; кое с чем согласилась и тут же вписала в текст; и лишь очень немногое отложила для дальнейшего обдумывания.

27 мая 1955

Сегодня с Анной Андреевной смешной разговор в машине (по ее просьбе я ее отвозила к кому-то в гости на Арбат). Оказывается, она была дружна с ленинградской художницей, Н.О., которую я знала слегка, издали: она приходила в нашу редакцию, к Лебедеву (1). Скромная женщина, некрасивая и очень талантливая. (Я видела портрет Ахматовой ее работы — интересный: самая суть ахматовской красоты). Так вот, Анна Андреевна рассказывает:

(1) «Наша редакция» — редакция детского отдела Ленгосиздата (впоследствии «Молодой Гвардии», «Детгиздата», «Детгиза»), которой с 1924 по 1937 г. руководил С. Маршак. В разное время членами этой редакции были писатели: Б. Житков, Е. Шварц, Н. Олейников, А. Любарская. Т. Габбе и др. Я проработала там около десяти лет. Руководил иллюстрированием детских книг, выпускаемых в Ленинграде, художник В. Лебедев.

— Однажды я собиралась к ней в гости, вечером. Была уже в пальто. Вдруг телефонный звонок: «Приходите, пожалуйста, не сейчас, а немного позднее, я должна уложить спать мою курицу».

Отсмеявшись, я спросила у Анны Андреевны, в чем же было дело, какая оказалась курица, почему спать? Спросила ли она об этом?

— Ну вот еще! Как можно! Напротив: я сделала вид, что сама каждый вечер укладываю спать по несколько куриц!

Редактор будет завтра. Вчера Мария Сергеевна Петровых помогла ей обосновать возражения редактору.

30 мая 1955

В субботу я ездила с Анной Андреевной к Наташе Ильиной. Заехав, как было условлено, на Ордынку, в 7 часов, я думала, мы отправимся сразу — но нет, Анна Андреевна велела мне раздеться и повела к себе в комнату. Я спросила, чем кончилось свидание с редактором, как принял он ее упреки?

— «И лобзания, и слезы, и заря, заря!» Упреков никаких я не делала. Я была кротка, как ангел. Я просто показывала ему, что здесь будет вот так, а здесь вот этак. И он был в восторге. Я проявила подлинный гуманизм, — о строке «вдруг сразу» ни слова.

Она сбросила со стула охапку платья, валявшегося на чемодане, и вынула оттуда знакомую рукопись.

— Строфа? — обрадовалась я.

— Нет, не строфа.

Показала мне, куда сделана вставка: примечание к предпоследней фразе предисловия: «ни изменять, ни объяснять ее я не буду». Потом я увидела страницу — белую, большую страницу, исписанную ее почерком, строчками, ползущими вверх и направо, забирающими все выше и выше и все правее и правее. Написанное она прочла мне вслух. Целая страница прозы, озаглав-

ленная «Письмо к НН» или «Из письма к НН» точно не помню. Письмо не письмо, а отрывок, начинающийся с полуфразы. Замысел: положить предел кривотолкам. Нападки на нападающих и кое-какие объяснения. Написано с какой-то странной смесью беспомощности и надменности — странное сочетание, присущее ей вообще. (Когда-то об этом сочетании, как о главной черте ее характера, говорил мне Владимир Георгиевич (1).

Окончив, она подняла на меня глаза. В вопросительном взгляде были доверчивость и беспомощность.

— Отрывок восхитительный, — сказала я, — но и совершенно ненужный.

— Необходимый, — надменно ответила Анна Андреевна.

Мы отправились к Ильиной. Анна Андреевна весь вечер была живая, веселая, озорная — очаровательная — мне было жаль, что кроме нас никто не видит ее такою. Она и на Ордынке была радостно возбуждена — повидимому тем, что хорошо поладила с редактором и написала эту страницу — а тут еще выпила с Ильиной бутылочку муската и совсем развеселилась. В такие минуты она мне представляется «студентом»

(1) Владимир Георгиевич — Гаршин; племянник писателя; патологоанатом, много лет проработавший в больнице им. Эрисмана в Ленинграде.

А.А. сблизилась с В.Г. Гаршиным в 1938 г.; разрыв наступил в 1944 по возвращении А.А. из Ташкента. Гаршину посвящены стихотворения: «Соседка, из жалости, два квартала»; «С грозных ли площадей Ленинграда», «А человек, который для меня», а также строки в «Эпиллоге» «Поэмы без героя»: «Ты не первый и не последний»

и т. д.

и

«Мне казалось — за мной ты гнался,
Ты, что там умирать остался»

и т. д.

В ранних вариантах «Поэмы» весь «Эпиллог» посвящен был «Городу и Другу» — (Гаршину).

— как подросток называл генеральшу Ахмакову, когда она ненадолго из важной барыни превращалась в задорного мальчишку. Анна Андреевна оттаивала на глазах: лицо порозовело, заблестели глаза и больше не было ахматовских поднятых скорбных бровей. Говорила она без умолку. Сама, по собственному почину, без нашей просьбы, прочитала нам стихи: «И время прочь, и пространство прочь», «Нет, я не выплакала их»; затем сообщила, смеясь, что М.М. Смирнов (из журнала «Нева») заказал ей по телефону стихи о лете и «страницы три взволнованной прозы»... Потом вдруг:

— Знаете, Наталия Иосифовна, Лидия Корнеевна говорит, что я могу писать прозу. Неужели это правда? Неужели я могу?

Потом мне:

— А вы догадались, кому адресовано «Письмо к НН»? Кто НН? Догадались?

— Да, — сказала я.

— Кто же?

— Это я, Анна Андреевна. Это мне.

— Верно, угадали. Как же вы угадали? (1)

5 июня 1955

Дважды за это время была у Анны Андреевны. В первый раз (2/VI) застала ее в постели — сердце. Лицо

(1) «Письмо к НН» никогда не было реальным письмом; как некая игра и условность, как попытка полемизировать с кривотолками, оно было введено Ахматовой в «Поэму без героя» в качестве первого примечания, а затем, продержавшись в тексте несколько лет, при очередной переработке изъято автором навсегда. Начиная с 1960 года, в машинописных экземплярах «Поэмы», исходящих непосредственно от А.А., «Письмо к НН» более не встречается. Непонятно, на каком основании «письмо» это, переименованное в «Письмо к Н», открывает собою «Поэму без героя» во 2 томе «Сочинений» Анны Ахматовой (Международное Литературное Содружество, 1968, стр. 97).

серое, отекавшее. При мне явилась районная врачиха. Анна Андреевна ей верит, потому что когда-то она вовремя определила инфаркт. Тоже поклонница таланта. Прописывая рецепт, произнесла: «Когда мне было 18 лет, я так обожала ваши стихи... Они такие звонкие, звучные... Теперь таких не пишут».

Звонкие, звучные!

После ее ухода разговор зашел о Герцене. Анна Андреевна с какой-то нарочитой грубостью напустилась на Наталью Александровну:

— Терпеть не могу баб, которые вмешивают мужей в свои любовные дела. Сама завела любовника, сама с ним и расправляйся, а не мужу поручай — тем более, что, как теперь известно, она прямо-таки висла на Герцене, он от нее избавиться не мог... А когда Герцен в «Былом и Думах» пишет о ней, сразу страницы линяют. Какой-то фальшивый звук. Все вокруг нее плохие, она одна хорошая. И тетки, которые ее воспитали, тоже плохие.

Я ответила, что тетки в самом деле были стервозные. А Наталью Александровну я люблю. Если бы она была женщиной заурядной, ординарной, она благополучно осуществляла бы жизнь втроем, не страдая и не мучась. Но ложь, двойная любовь, двойная игра совсем не были свойственны ее натуре, и от этой двойственности, по природе ей чуждой, она умерла. Она сама не могла понять, что с ней творится... Кроме того, я ценю в ней тонкость, восприимчивость, ум, литературность — она оказалась в состоянии понимать, о чем шла речь в кружке Герцена, быть участницей бесед, быть на уровне их рассуждений. При малой образованности она была интеллигентна.

— Ну, это дело темное, — перебила меня Анна Андреевна. — Когда женщина молода и хороша собой, мужчины говорят сами и воображают, что это она сказала. Я видела это тысячи раз.

Затем я была у нее набегу вчера утром. Она уже на ногах, но лицо серое, отекавшее. Рассказала о позоре

с Дрезденской галереей : туда не велено пускать детей до 16 лет. Наталья Иосифовна позвонила администрации и невинным голосом осведомилась, почему? Девка ответила :

— Ясно, почему! Картинки-то там какие! — то есть, по ее мнению, непристойные.

Новые перемены в « Поэме » :

I. Эпиграф из Хемингуэя к « Эпилогу » « I suppose, all sorts of dreadful things will happen to us » (1), заменен Пушкинским « Люблю тебя, Петра творенье ».

— Уж очень к этой части подходит Пушкин, — сказала Анна Андреевна.

II. Вместо Нечистого Духа (« Вежлив, прячет что-то под ухо Тот, кто хром и кашляет сухо. Я надеюсь, Нечистого Духа Вы не смели ко мне ввести ») появился Владыка Мрака; это сделано потому, что рифма к уху существует уже в другой новой строфе, о другом герое (« Плоть, почти что ставшая духом, И античный локон за ухом Всё таинственно в пришлепце »).

III. Какие-то перемены в « Решке ».

— Я дерзнула (!) покуситься (!) на « Решку », — сказала Анна Андреевна. — Столько лет ее не трогала.

Показала мне две школьные зеленые тетрадки, куда переписана « Поэма » в полуновом виде.

8 июня 1955

Вчера — внезапная поездка с Дедом (2) и Анной Андреевной в Переделкино. Вышло так : К.И., на машине, приехал по делам в Москву. Удрученный жарой, он спросил меня, не увезти ли и Анну Андреевну за город? Позвонил ей сам, она согласилась. В половине шестого мы были на Ордынке. Вместе поднялись к ней. Анна Андреевна уже ждала нас, нарядная,

(1) « Я думаю, с нами случится все самое ужасное ».

(2) Так называли Корнея Ивановича все члены его семьи.

в сером платье. Я села рядом с Геннадием Матвеевичем (1). Анна Андреевна и К.И. позади. И еще одна пассажирка — «Поэма»! Анна Андреевна незаметно сунула мне в сумку школьные зеленые тетради.

На Арбате мы захватили Женю (2). Едем. Духота нестерпимая, но терпеть недолго: сейчас на шоссе и вылетим за город, к деревьям.

Однако не тут-то было. Мы не предусмотрели стихийных бедствий.

Впереди толпа, машины, люди, опять толпа, опять машины и какой-то плакат через улицу...

Встречают Неру.

Я люблю Неру. Но сразу встревожилась за Анну Андреевну, зная, как плохо она переносит всякие дорожные осложнения. (Помню эвакуацию). И недавно был сердечный приступ. И жара.

Геннадий Матвеевич в унынии, К.И. смущен. Женя говорит, всё ерунда, и сыплет проектами.

Попробовали мы вырваться на Можайское шоссе через Воробьевы.

— Вид совершенно заграничный: Берлин, Вена, — сказала Анна Андреевна, когда мы объезжали Университет.

Стоп. Милиционер.

— Вся Можайская шоссе забита народом, — сказал он. — Проезда нет.

— Вы нам сообщаете об этом прямо с радостью! — рассердился К.И.

Милиционер ответил внушительно, солидно, назидательно:

— Я не за вас рад. Я за вас не рад, гражданин. Какая тут может быть для милиции радость. А радость народа за мероприятие.

Мы повернули. Анна Андреевна как-то потускнела,

(1) Геннадий Матвеевич — шофер К.И.

(2) Женя — внук Корнея Ивановича, сын его младшего сына, Бориса Корнеевича.

поникла. К.И. сердился, что по радио не извещают в таких случаях, какой путь будет закрыт. Я предложила отвезти Анну Андреевну домой. Один Женя не смутился и по-прежнему сыпал предложениями. Благодаря своей автомобильной страсти, он, несомненно, лучше всех и лучше Геннадия знает здешние дороги. Он настаивал, что пробиваться надо по Киевскому шоссе: «ну, там, несколько километров до Переделкина, ямы — подумаешь!»

Решили пробиваться.

Сначала дивное гладкое шоссе. Поворот — и мы на проселочной дороге. И на какой еще! Рытвины, колдобины, ухабы, ямы, поваленные сосны, сучья. Анна Андреевна умолкла. Хотя Геннадий вел машину очень осторожно и искусно, нас трясло и то и дело подбрасывало. К.И. предложил, на зло ямам, каждый раз после встряски улыбаться, но, кажется, это не удавалось даже ему.

...Но вот, наконец, последний бугор взят, последняя колдобина объехана и впереди асфальт. Перевели дух. А вот и наши ворота, и цветы, и лес. Мы вышли. Другой воздух. Другой климат. Океан прохлады. Может быть, стоило мучиться!

Вдвоем с Анной Андреевной мы пошли по тропинке вглубь сада — вернее, леса! — и сели на лавочку под высоченными соснами. Птицы поют. Тишина. Легкий ветер качает ветви, и тени плавают по яркой поляне. Анна Андреевна первая увидела белку, вьющуюся вокруг ствола: вокруг и вверх, вокруг и вверх. И ее полет на другую сосну.

— Ртуть, — сказала Анна Андреевна.

Потом:

— Быстрая, как тень.

Потом:

— Здесь преступно хорошо.

К.И. пришел звать нас обедать. Он старше Анны Андреевны, но ходит гораздо легче, свободнее, чем она, быстро, уверенно, без одышки. Когда она похва-

лила лес и сад и кленовую дорожку перед домом, он стал убеждать ее поселиться у нас на лето. Показал комнату внизу, с видом на сиреневый куст, где ей было хорошо. Анна Андреевна благодарила и обещала подумать. За обедом, когда К.И. стал расспрашивать ее о здоровье, она рассказала о своем посещении литфондовской поликлиники. Врач, фамилии не помнит, мужчина, глядя в ее карточку начал с вопроса: «Вы кто — мать писателя или сами пишете? Сами? А почему вы из Ленинграда сюда приехали лечиться? В Ленинграде ведь тоже есть Литфонд».

После обеда мы поднялись в кабинет К.И. Анна Андреевна села на диван, надела очки, и я подала ей тетрадки. Она прочла «Поэму» всю целиком с новыми строками и строфами, а потом, без промежутка, и «Письмо к NN».

К.И. бурно хвалил «Поэму» и новые строфы, сказал, что они с такою естественностью введены в текст, будто всегда тут и были. Тогда Анна Андреевна, лукаво поглядев на меня, спросила у К.И., как он думает, нужно или не нужно «Письмо к NN»?

— Необходимо! — ответил К.И. к полному ее удовольствию. А я промолчала.

Анна Андреевна решила зайти к Пастернаку. Я с ней. К.И. пошел провожать нас.

По дороге К.И. опять заговорил о «Поэме». Он сказал, что вещь эта проникнута необыкновенно острым чувством истории. Что она о главном. Что это — трагедия времени, того и нашего. Что не любить ее невозможно. Что она заставила его дышать воздухом 13 года.

Мы проходили мимо длинного фединского забора. К.И. предложил зайти к Федину, посмотреть на японские чудеса у него в саду.

Зашли. Константин Александрович поспешил к нам навстречу. На нем была какая-то великолепная парчовая куртка. Повел нас по саду. Его молчаливый

зять перекапывал клумбу, Нина (1) что-то полола. Варенька (2), с косичками и живыми глазами, увидев К.И., взвизгнула и бросилась ему на шею. Константин Александрович вел нас куда-то вглубь. «Как живете, Лида?» спросил он на ходу. «Отлично», ответила я. Мы сели на скамью. Перед нами было розово-белое цветущее дерево, а за ним еще и еще его белые японские сестры. Анна Андреевна смотрела на них в молчаливом благоговении. Когда Варенька, К.И. и Константин Александрович заговорили о чем-то своим она сказала мне, показывая на белое дерево :

— Словно в нем живет белая ночь.

К.И. вспомнил, что кто-то должен к нему приехать из города, и заспешил домой, а Константин Александрович пошел проводить нас до ворот пастернаковской дачи. У калитки откланялся.

А мы вошли во двор.

Пусто. Ни цветов, ни деревьев, один огород. И в глубине — коричневая мрачная дача. Дом беды.

Мы пошли по дорожке к дому. Анна Андреевна тяжело опиралась на мою руку. Трудно она стала двигаться.

На крыльцо вышла какая-то женщина. Крикнула нам издали : «никого дома нет!»

— Передайте, что была Ахматова, — громко сказала Анна Андреевна, и мы пошли обратно.

А потом машина в город, — на этот раз без всяких приключений. Когда мы переезжали через пруд, освещенный закатом, Анна Андреевна произнесла четыре строки из своего стихотворения Борису Пильняку :

И по тропинке я к тебе иду.

И ты смеешься беззаботным смехом.

Но хвойный лес и камыши в пруду

Ответствуют каким-то странным эхом.

(1) Нина — дочь К.А. Федина.

(2) Варенька — внучка К.А. Федина.

Так это тот самый пруд! (Пильняк жил в Переделкине). Теперь уж мне от этих строк не избавиться. Я всегда буду повторять их на этом месте. Каждый раз.

11 июня 1955

Опять за последние дни самое сильное впечатление — встреча с Анной Андреевной.

И с «Поэмой». И со стихами — старыми, сороковых годов, но для меня новыми.

Была у нее 9-го вечером. Скоро на несколько дней она переезжает к Л.Д. Большинцовой, т. е. к Любочке Стенич (1), в Сокольники. Там хорошо, большая квартира и деревья под окнами, но пятый этаж и нет лифта — значит, поднимется раз и окажется в квартире безвыходно... А сюда на время приезжает Алеша Баталов.

Начали мы не со стихов, а с Дрезденской галереи. Пришла Наталия Иосифовна — элегантная, молодая, молодая. Рассказала о своем визите к А. По неопытности своей (2), она не поняла сразу, как сразу поняли все мы, что запрещение посещать галерею детям до 16 лет исходит не от администрации, а от «вышестоящих организаций». И пошла к А. объясняться, воображая, будто этого холуя можно переубедить.

(1) Любовь Давыдовна Большинцова — переводчица, приятельница А.А.; в первом браке — жена Валентина Осиповича Стенича, стиховеда и стихолоба, о встрече с которым подробно рассказал Александр Блок в статье «Русские денди». Валентин Стенич мастер художественного перевода: в его переводах выходили на русском языке произведения Джойса, Дос-Пассоса, Фолкнера, Брехта, Франка.

Арестован осенью 1937 года и погиб в заключении.

(2) Н.И. Ильина детство и юность провела в эмиграции, в Китае, куда была увезена ребенком; вернулась на родину уже взрослой, только в 1948 г.

Старый лицемер немедленно вскарабкался на высокие моральные позиции :

— У меня сын 14 лет, очень чистый мальчик. И я не уверен, что ему следует показывать Дрезденскую.

Таково отношение к искусству воинствующего и правительствующего мещанства. Учителя, управдомы, врачи, медсестры, пригородные молочницы, инструкторы ЦК комсомола — все наверное думают так же. « Венера » Джорджоне в их восприятии непристойное зрелище.

Я ждала гнева Анны Андреевны, и гнев разразился.

Заговорила она негромко и раздельно, как всегда, когда ею владеет негодование. Голос тихий, медленный, и чем сильнее бешенство, тем тише голос.

— Я уверена, что этот чистый мальчик с пятилетнего возраста слышит один только мат, — сказала она. — А что же нам делать с Эрмитажем ? Рембрандт, Рубенс, Тициан ? — Она перевела дыхание. — Ведь туда на экскурсии толпами водят этих чистых мальчиков с утра до вечера ! А Русский музей ? Фрина Семирадского ? А греки, которые богов своих изображали нагими ?... Считать наготу непристойной — вот это и есть похабство.

Она с брезгливостью повела плечами.

Скоро Наталья Иосифовна ушла. Чуть только мы остались одни, я вынула из портфеля и разложила на столе « Поэму ». Анна Андреевна, несколько не удивившись, достала из чемоданчика свой экземпляр. Она сидела на краю постели, я на стуле. Продиктовала мне новую строфу в « Примечания » (« Всех наряднее и всех выше, Хоть не видит она и не слышит Голова m-me de Lamballe » (1) и добавления к Решке (2). Диктуя строфу о мадам де Ламбаль, сказала :

(1) Впоследствии эта строфа перекочевала в интермедию « Через площадку ».

(2) Судя по рукописи, вставлена, повидимому, была ремарка к « Решке ».

— Я отлично знаю французский, но писать не умею. Ни на одном языке не умею. Только мама и папа.

Дала мне поручения: узнать точно, как пишется по-французски фамилия Ламбаль (можно ли рифмовать с Carnaval) и подробнее, что такое баута.

(За окном полил дождь. Он шумел в листьях и барабанил по стеклу. Меня поразило, что Анна Андреевна его не слышала. У нее так же плохо со слухом, как у меня со зрением. Машина дождя работала за окном гулко и бесперебойно уже минут двадцать, когда Анна Андреевна, увидев на стекле струйку воды, проговорила: «Смотрите, оказывается, дождь. У вас зонтик с собою?»)

К «Письму» она продиктовала мне большие новые поправки. Попросила, чтобы я отдала «Письмо» машинистке. Поправки диктовала каким-то беспомощным голосом, все время перебивая себя вопросами: «это лучше? это понятно?» В прозе движется она неуверенно, «как будто под ногами плот, а не квадратики паркета». Обаяние чувствуется то же, что и в стихах, но силы, непреложности — нет. Синтаксис какой-то неуверенный.

Излагая в «Письме» мнение о «Поэме» Абрама Эфроса (по «Письму» он — «Х»), Анна Андреевна теперь развила его слова, выделила, удлинила; говорит — специально призывала к себе Штока и допрашивала с пристрастием (1).

(1) Исидор Владимирович Шток (драматург) и жена его, Ольга Романовна, в эвакуации, в Ташкенте, жили в том же писательском общежитии, что и Ахматова: на улице Карла Маркса, 7. Оба они стали завсегдатаями ее чердачка и дружно заботились о ней.

Когда в апреле 1942 г. Штоки уезжали в Полярное, А.А. подарила им собственноручно переписанный экземпляр «Поэмы»

Исидор Владимирович, не раз слышавший, как А.А. читала «Поэму» гостям, был, повидимому, свидетелем и беседы А.А. с Абрамом Эфросом.

А я сделала « Поэме » подарок, которым очень горжусь.

Однажды в Ташкенте я утащила из пепельницы брошенный Анной Андреевной клочок бумаги. Строки, обращенные к Судейкиной :

Ужели

Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей ?

И вот они наконецгодились. Я их прочитала Анне Андреевне наизусть (клочок потерялся) и спросила, помнит ли их она ?

— До сих пор не вспоминала никогда, а теперь помню, и помню, что вы их любили. Давайте-ка введем их сейчас же. В « Поэме » мне очень нехватает торцов. Какой же Петербург без торцов !

Она в один миг нашла место. Вписала эти строки после свиданья в Мальтийской Капелле. Судя по рифмам, они тут и были. Только вводная фраза была какая-то другая (1).

— На днях я видела экземпляр Зубовой, — сказала Анна Андреевна. — Знаете, что там написано ? (Она заговорила тихим голосом : близилось негодование). « Ты — один из моих дневников » ! Дневников вместо двойников ! (2) Какой смрад ! Это у Толстого было

(1) Недавно я разыскала этот листок :

Горы пармских фиалок в апреле,
И свиданье в Мальтийской капелле
И записочка в полночь... Ужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей.

В последующих вариантах строки о ножке и торцах остались, но введены они по-другому и записочка в полночь исчезла.

(2) На самом деле :

Петербургская кукла, актерка,
Ты — один из моих двойников.

несколько дневников — один он показывал Софье Андреевне, другой не показывал и в валенке таскал — а моя героиня-то тут при чем? И как же люди читают?... — Она гневно умолкла. — Но зато там я нашла надпись, сделанную мною в Ташкенте в 44 году. Я о ней наглухо забыла... Я вам ее прочту, только помните, и дайте мне слово, что она никогда не прилипнет к «Поэме»... И зачем это я, дура, той же строфой ее написала? Другой не нашла?

Она произнесла короткое стихотворение, горестное, открытое, будто дала мне потрогать рукою свою беззащитность и боль.

Надпись на «Поэме»:

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда.
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь, почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму (1).

Я думаю, это впервые за все существование поэзии, поэт обращается с мольбой о помощи не к другу, не к людям вообще, не к природе, не к Богу, а к собственному своему творению. Поэт просит помощи у созданной им Поэмы.

«Спаси ж меня, как я тебя спасала...»

В этих стихах, что редкостно в поэзии Ахматовой,

(1) Это стихотворение опубликовано мною в 1967 году — «Литературная Грузия», № 5.

нет никакой опоры на реальный мир, никаких внешних конкретностей — ни облаков, ни бессмертника, ни муфты, ни хлыстика, ни сада, ни дома, ни набережной, ни птиц, ни Петропавловской крепости, ни мостов, ни закатов — одно раздумье, оканчивающееся мольбой :

« Спаси ж меня, как я тебя спасала... »

Хотелось бы мне когда-нибудь понять, догадаться — чем преображена фраза, воспроизводящая интонацию совершенно обыденную, домашнюю, даже словно выговор ребенку :

« И ты прекрасно знаешь, почему... »

Что превращает ее из прозаического упрека в торжественную жалобу, в какую-то музыку стона... То место, на котором она поставлена в стихе ?

Анна Андреевна сказала мне, что оно было написано в 44 г., в Сочельник.

Я запомнила все стихотворение мгновенно, от слова до слова, будто оно всегда жило во мне; записала его на чистом листке и дала Анне Андреевне проверить и подписать.

Пока она боролась с моим пером, жалуясь, что не умеет писать им, я с новым чувством умиления смотрела на эти старческие руки в перстнях, на эту склоненную над столом седую голову, на эти выцветшие, пронзительно умные глаза.

Седое чудо ! О мое седое чудо !

Она написала под стихами : « 9 июня 1955 г. ».

По моей просьбе она продиктовала мне и стихотворение Пильняку, — я помнила пруд и конец, но позабыла начало. А теперь оно у меня целиком.

Все это разгадаешь ты один.

Когда бессонный мрак вокруг клокочет
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врезается во тьму декабрьской ночи,
И по тропинке я к тебе иду...

и т. д.

— Совсем не помню, когда оно было написано, — сказала Анна Андреевна, окончив диктовать. — А вот что помню: незадолго до той поездки в Переделкино, о которой тут речь, я написала стихотворение Пастернаку. Пильняк тогда сказал: «А мне?» — «И вам напишу». И вот как довелось написать! (1)

16 июня 1955

Из «Нового Мира», куда ходила за своей версткой (2), — к Анне Андреевне. Она тревожная, грустная бродит по ардовским комнатам. Приняла меня в столовой. У нее в комнате спит Ирина Николаевна, приехавшая из Ленинграда вместе с Аней и мужем. В столовой с ногами на диване сидит Аня и читает «Викторию». Анна Андреевна увела меня в комнату мальчиков, и там я вынула из портфеля «Поэму», которую на всякий случай всегда таскаю с собой. Она внесла поправку в одну из строф «Решки» — сделала теперь так:

«У шкатулки ж двойное дно» (3).

Затем на обороте моего экземпляра, где было написано ею: «Окончательный текст 9 июня 1955», она приписала к 9 — 1, и получилось 19 июня, хотя сегодня только 16. Но дело не в этом, а в том, что и 19 текст не станет окончательным, и не скоро еще — я уверена.

Пересказала мне мнение Шервинского о «Поэме», по-моему, совершенно ошибочное. Это, якобы, не поэма,

(1) Т. е. после ареста Пильняка, когда уже разнесся слух о его гибели.

(2) За версткой статьи: «Зеркало, которое не отражает».

(3) Было: «И смущенье свое не прячу Под укромный противогаз». Потом, вместо противогаса, стало: «чем как будто смущая вас». Затем А.А. посередине строфы сделала: «Впрочем это мне все равно» (вместо «это в последний раз»), тогда стала возможна новая рифма, и А.А. закончила строфу по новому: «У шкатулки ж двойное дно». (В апреле 1960 года «двойное дно» превратилось в «тройное»).

а цепь отдельных лирических стихотворений. Неправда, все тут течет единым потоком, никаких отдельных стихотворений нет. Второе: это старомодно, десятиные годы. Неправда, тут только по материалу — десятиные годы, а сама «Поэма» оглушительно нова, и нова не для одной лишь поэзии Анны Ахматовой, а для русской поэзии вообще. (Может быть и для мировой; я судить не могу, я слишком невежественна). Тут все впервые: и композиция, и строфа, и отношение к слову: акмеистическим — точным, конкретным, вещным словом Ахматова воспроизводит потустороннее, духовное, отвлеченное, таинственное. Историзм, всегда присущий поэзии Ахматовой, тут доведен до высшей точки. Это праздник памяти, пир памяти. А что память человека нашей эпохи набита мертвецами — вполне естественно: поколение Ахматовой пережило 1914, 1917, 1937, 1941. История пережита автором лирически, лично — вот в чем главная сила «Поэмы». Тут и мертвые 13 года, погибшие от предчувствия гибели — самоубийца Князев, например. («Столько гибелей шло к поэту. Глупый мальчик, он выбрал эту»... «Не на синих Карпатских высотах... Не в проклятых Мазурских болотах...») В «Поэме» не вообще мертвые — убитые, замученные, расстрелянные — а ее мертвые, те, что когда-то делали живой ее жизнь, герои ее лирических стихов. Но это вовсе не превращает поэму в цепь лирических стихотворений, как полагает Шервинский. Это только пропитывает эпос лирикой, делает «Поэму» лирико-эпической, неизмеримо глубокой, хватающей за душу. «У шкатулки двойное дно» — а какое дно у памяти? четверное? семерное? не знаю, память бездонна, поглядишь — голова закружится.

— Напишите мне то, что вы сейчас сказали, — попросила Анна Андреевна.

Написать? Я обещала, но вряд ли сдержу обещание. «Поэма» слишком сложна; тут, как Анна Андреевна говорит о «Пиковой даме» — слой на слое, слой на слое.

Получила от Анны Андреевны трогательный подарок. Недавно она спросила, каких ее книг у меня нет. Я ответила без всяких задних мыслей. И вот теперь она купила у Крученых и сама привезла мне «Белую Стаю»! с надписью! Берлинское издание! Признаться, я никогда не чувствовала в этой книге особой нужды, потому что почти всю ее знаю наизусть с детства, но так приятно держать ее в руках, и перечитывать милую добрую надпись, и заново узнавать знакомые стихи.

За это время Анна Андреевна была у меня дважды; первый раз я не записала вовремя, да и ничего особенно интересного не говорилось; а второй раз это третьего дня, 28/VI.

Она позвонила мне перед вечером и попросила увезти ее к себе, потому что Ардовы справляют именины Евгении Михайловны, матери Виктора Ефимовича, а у нее голова болит. И вот, преподнесла мне «Белую Стаю». Села за большой письменный стол К.И., и я положила перед ней все ее книги. Она начала перелистывать «Из шести книг» и проставлять под стихами даты. Потом зачеркнула над стихотворением «Как мог ты, сильный и свободный» имя Шилейко и объяснила мне:

— Никакого отношения к Владимиру Казимировичу эти стихи не имели. Пришлось в ту пору так пометить, чтобы прекратить сплетни.

Над стихами «Зажженных рано фонарей» вместо «Встреча» поставила «Призрак». Книга «Ива», оказывается, должна называться «Тростник» (она объяснила, почему (1)) и первое стихотворение там не «Ива», а Лозинскому («Почти от залетейской тени»).

(1) А.А. пересказала мне одну восточную легенду: о том, как две сестры убили младшую на берегу реки. Убийство им удалось скрыть, Но на месте пролитой крови вырос тростник;

Я спросила у нее, что она сейчас читает?

— «Мистерии!»

Я обрадовалась: изю всех гамсуновских романов этот мой самый любимый.

— Я читала его лет 30 назад, — сказала Анна Андреевна. — Конечно, в смысле чувств я его и тогда понимала вполне, а в смысле литературном — нет. Я только сейчас до конца поняла, какая это смелая вещь — в ней и Джойс, и вся современная литература — и какая она русская, как виден в ней Достоевский.

Я спросила, за что она не любит Станиславского? (Однажды мимоходом призналась).

— Не люблю, он многое и многих загубил в театре. Он нашел способ ставить чеховские пьесы, что-то в них открыл, но потом пытался применить тот же метод к другим пьесам — паузы и пр. — и это оказалось губительно. Мы видим, что вышло. Не говорите, пожалуйста, как все: «плохо, мол, сделалось без него», «бездарные люди не умеют применять его системы» — и при нем было точно то же, не обольщайтесь. Когда в других театрах смотришь, например, «Федру», — думаешь о страстях человеческих, о любви, о судьбе, о смерти. Это и есть театр. А когда смотришь спектакль, поставленный Станиславским, всё так уж реально, так уж точь-в-точь что думаешь: а есть ли в этой квартире комната для домашней работницы? а не пора ли им уже обедать — они что-то давно не ели? а не пора ли уж и в уборную?

Я спросила, видала ли она Станиславского на сцене? (Я видела в «Вишневом саде» — и никогда не забуду: великий актер).

— На сцене не случалось, — ответила Анна Андреевна. — А лично видела. В санатории. Там все демонстративно его обожали.

весной пастух срезал дудочку, дунул в нее — и тростник запел песню о тайном злодействе.

— А был ли он в самом деле такой красивый, как на фотографиях? — спросила я.

— Что вы! Нисколько! Напротив: обезьянье лицо, обезьяньи руки. Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать: только бы ставить спектакли, только бы торжествовал театр. Остальное его просто не занимало: так ли, иначе ли...

Я пошла ее проводить. По дороге заговорили о Фрейде. Я призналась в своей нелюбви. Всё мне кажется неправильным, придуманным в его теориях, кроме, разве, той огромной роли, какую он приписывает раннему детству.

— Фрейд — мой личный враг, — с торжественной медлительностью произнесла Анна Андреевна. — Ненавижу всё. И всё ложь. Любовь для мальчика или девочки начинается за порогом дома, а он возвращает ее назад, в дом, к какому-то кровосмешению... А насчет раннего детства догадывались и без него.

Анна Андреевна шла трудно, с одышкой. Я оставила такси. В машине случился смешной эпизод: она прочитала мне одно свое давнее стихотворение, которого я никогда не слыхала.

Кажется, так:

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
А мне бы сейчас откинуться
В какой-то семнадцатый век.

И дальше:

С боярынею Морозовой
Сладкий медок попить.

Жалуясь, что безнадежно забыла какие-то первые четыре строки, Анна Андреевна потребовала, чтобы я их вспомнила. Я ей толкую: это стихотворение вы

мне сейчас прочитали в первый раз ! А она повторяет :

— Ну постарайтесь... пожалуйста... припомните... Я вас прошу... Тут нехватает только четырех строк... Для вас это пустяки. Вы — моя последняя надежда.

Я опять объясняю, что стихов этих до сего дня никогда не слыхала. Она словно поняла, поверила, и мы заговорили о другом.

Но когда я помогала ей выйти из машины во дворе ее дома, она повторила опять :

— Пожалуйста, вспомните первые четыре строки. Остальное известно.

11 июля 1955

Вчера днем я забегала ненадолго к Анне Андреевне. Она собиралась в гости. Мы посидели за столом в столовой вместе с Мишей и Виктором Ефимовичем. Ели молодую картошку и огурцы. Виктор Ефимович во главе стола в сапожничком фартуке мастерит какой-то короб : орудует шилом, прошивает крышку толстенными нитками, как заправский сапожник. Миша хозяйничает. С первого взгляда он разительно похож на отца, со второго видишь в нем Нину : смуглое белозубое лицо, бархатные темные глаза, что-то мягкое сквозь решительность. Анна Андреевна недавно сказала мне : « Миша у нас добрый, как девочка ».

Она собиралась к Фаине Григорьевне Раневской, переодевалась, долго говорила по телефону. Видела я ее сегодня лишь мельком и на людях. За столом я начала цитировать идиотическую рецензию Л. — « внутреннюю » — на чьи-то стихи :

« Ритм обыкновенный, рифма нормальная, поэтика на среднем уровне » — и не могла продолжать, потому что у Анны Андреевны исказилось лицо и она ударила кулаком по столу :

— Это бандит ! Это бандитизм !

(Меня порадовало ее возмущение : братья-литераторы разучились возмущаться такими вещами и при-

нимают невежество и наглость Л. как нечто неизбежное. Я это много раз наблюдала. А ведь Л. надо лишить права рецензировать рукописи за эту одну единственную фразу, и бороться против Л. обязаны мы).

Миша вызвал машину и проводил нас через двор. Анна Андреевна велела шоферу ехать по улице Горького. В машине я ей рассказала, что, перечитывая «Записные книжки» Блока (1), с удивлением слежу за черновиками: оказывается, стихи его лились потоком, сплошным, общим, и только потом, постепенно, из этого общего потока выкристаллизовывались отдельные стихотворения, посвященные разным людям и «на разные темы». А поначалу они были едины.словно широкая река у нас на глазах распадается на речки, ручейки, озера.

— Это очень интересное наблюдение, — сказала Анна Андреевна. — Вам непременно следует написать статью. Ведь обычно-то бывает наоборот... А вы не заметили там черновика стихотворения, посвященного мне? Нет? В окончательном виде это мадригал, всё как полагается, а в черновике чего только нет: тут и демон, тут и невеста что... (2).

18 июля 1955

Событие: Анна Андреевна на-днях читала мне новые стихи. И какие! Начала она с переводов вьетнамцев, а потом прочитала свое. Не сороковых годов стихотворение, а теперешнее. Первое теперешнее со времен нашего московского знакомства.

(1) Ал. Блок «Записные книжки». Редакция и примечания П.Н. Медведева. «Прибой», Л., 1930.

(2) «Кругом твердят: "Вы демон, Вы красивы"»

И Вы, покорная молве,
Шаль желтую накинете лениво,
Цветок на голове».

А. Блок, «Собрание Сочинений», 1960, т. 3, стр. 550.

Набросок новой ленинградской элегии. Всех их, по ее словам, будет пять (1).

Я мало что запомнила, к сожалению.

Кончается так :

« Но длилась пытка счастьем ».

Где-то в начале :

« Приятелей средь камешков речных... »

И еще :

« Уже я знала список преступлений,

Которые должна я совершить »...

Сразу не охватишь и не ухватишь. Родственно « Эпическим мотивам », но бемолизовано до такой степени, что мороз по коже (2).

Она спросила :

— Что это ? Как ?

Я попробовала найти слова.

— Страшное, — сказала я. — Страшнее, чем гофманиана в « Поэме ». Не жизнь, не эпизод из жизни, а « один, всё победивший звук » — главный звук прожитого. Над всем торжествующий.

Анна Андреевна слушала внимательно и в то же время как будто рассеянно.

— Может быть, может быть, — приговаривала она. — Пожалуй... А еще ?

— Сильное, — сказала я. — Особенно ко второй половине, к концу. Но мне не нравится « они с ума сошли » — очень уж по обывательски для этого вы-

(1) На самом деле семь. Строки в « Поэме без героя » — « А со мною моя Седьмая, Полумертвая и немая » — относятся к Седьмой, заключительной, из Ленинградских (впоследствии « Северных ») элегий; Седьмая носила название « Последняя речь подсудимой ». (См. В.М. Жирмунский « О творчестве Анны Ахматовой » — « Новый мир », 1969, № 6).

(2) Речь идет о черновом наброске одной из « Северных элегий » (повидимому, по замыслу автора, « Второй » — следующей непосредственно за « Предысторией »). После кончины А.А. она была опубликована В.М. Жирмунским — см. « Новый Мир », 1969, № 5.

сокого звука, и потом где-то к концу какой-то неуместный намек на рифму.

— Не только это. Тут еще много будет перемен, — сказала она.

...Вьетнамцы искусны. Хочу попытаться стихотворение о мальчике пристроить в «Пионерскую Правду» (1). Я была поражена, как Анна Андреевна обрадовалась моему намерению. Деньги? Вряд ли; что там могут заплатить за одно маленькое стихотворение! Или необходимость прочно утвердить себя на материке переводов? Она с удовольствием дала мне прочесть в «Литературной Газете» заметку Д. Романенко, где упоминаются в числе удачных ее переводы из Попова (2). Заметка ничтожная.

Я шла домой, негодую на свою утраченную память. Мне уже тяжело жить в разлуке с этой последней элегией. И когда еще Анна Андреевна кончит над ней работать и позволит переписать!

Вспомнила первую строку:

«И никакого розового детства»...

Я давно уже подозревала, по многим признакам, что детство у Ахматовой было страшноватое, пустынное, заброшенное, нечто вроде Фонтанного Дома, только на какой-то другой манер. А почему — не решаюсь спросить. Если бы не это — откуда взялось бы в ней чувство беспомощности при таком твердом сознании своего превосходства и своей великой миссии? Раны детства неизлечимы, и они — были.

«И никакого розового детства»...

Сейчас, ночью, зацепившись за «чем сильнее», я восстановила в памяти весь конец:

(1) Этот перевод в газете не появился. Обстоятельств не помню.

(2) Леонид Попов — якутский поэт; см. «Литературная Газета», 12 июля 1955 г., Д. Романенко, «Свет над тайгой».

И чем сильнее они меня хвалили
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить.
И тем сильнее хотелось пробудиться.
И знала я, что заплачу сторицей,
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я — но длилась пытка счастьем.

Кусок необыкновенный — но вот она где неуместная полу-рифма : « пробудиться — сторицей ».

19 июля 1955

Вчера забыла записать : я рассказала Анне Андреевне о письме, полученном Лидией Николаевной Кавериной от жены Зоценко. Это письмо Лидия Николаевна принесла Корнею Ивановичу. Жена Зоценко пишет, что Михаил Михайлович тяжело болен, отекают ноги, отсутствие работы сводит его с ума. Из « Октября » ему вернули рассказ, в Союзе — в Ленинграде — разъяснили, что печатать его не будут... К.И. поехал в Союз к Поликарпову, но — тот в отпуске — К.И. пошел с этим письмом к Смирнову, потом к Суркову. У К.И. впечатление такое, что спасти Зоценко они не станут, хотя разговоры велись корректные.

(А ведь это лучший из современных прозаиков... Итак, все, как положено Дьяволом или Богом : художник умрет, книги его воскреснут, следующие поколения объявят его классиком, дети будут « проходить » в учебниках... « Всё, Александр Сердцевич, заверчено давно »).

Анна Андреевна сказала :

— Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить : « сначала я не понимал постановления, потом кое с чем согласился »...

Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так.

Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, — он, по моему ответу, догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологий. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым...

7 августа 1955

На днях была у Анны Андреевны — так, начерно, забегала поздороваться после приезда (1).

Сегодня вечером пойду к ней опять.

Она какая-то грустная, вялая, хотя и сообщила мне две хорошие новости:

I. Постановление 46 года не будет больше проходить в школе;

II. Полковник Ковалев сказал Эмме Григорьевне, что Лёвино дело рассматривается «душевно»... (2). О, Господи, хоть бы конец!

Узнав, что в Ленинграде я побывала у Зоценко (3), Анна Андреевна потребовала полного отчета об этом посещении. Я торопилась, но не могла отказать ей. Она выпрашивала все подробности: какая комната? как он выглядит? как и что говорит?

Я постаралась ответить возможно точнее:

Комната большая, опрятная, пустоватая, с остатками хорошей красной мебели. Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное — у него нет возраста, он — тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед

(1) Я ездила в Ленинград.

(2) Полковник Ковалев — заведующий приемной Военной Прокуратуры СССР.

(3) По поручению К.И., я, приехав в Ленинград, навестила М.М. (30 июля); передала ему деньги и пригласила погостить на даче.

смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный — предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень вежливого обращения, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан. При этом на здоровье он не жалуется — напротив, уверяет, будто с помощью открытой им психотехники сам вылечил свое больное сердце. Заботливо расспросив, отчего умерла моя мать (второй удар), он выразил уверенность, что если бы врачи владели тем методом психотехники, который открыт им, Михаилом Михайловичем, она безусловно до сих пор была бы жива.

Тут Анна Андреевна перебила меня:

— Бедный Мишенька! Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура (1).

Я продолжала: был он со мною доверчив, внимателен ласков, (хотя мы и не виделись лет 20), расспрашивал о Люше. О себе сказал: «Самое унижающее в моем положении — что не дают работы. Остальное мне уже все равно».

Прочитал телеграмму от Вениамина Александровича Каверина: «правление Союза постановило добиваться обеспечения тебя работой».

Пожаловался, что ничего не ест, что даже с помощью психотехники не может заставить себя есть.

— Он боится, что его отравят. Мне говорили, — сказала Анна Андреевна. — Вот в этом все дело.

Михаил Михайлович поделился со мною своими предположениями «о причине причин» и о том, почему были сопоставлены такие, в сущности, далекие имена: он и Ахматова.

Обе версии Анна Андреевна нашла вполне вероят-

(1) То есть не выдержал второго тура травли, поднятой после встречи с английскими студентами.

ными (1). Провожая меня в переднюю, она снова повторила :

— Человека убили. Не выдержал второго тура.

Я обещала прийти вечером опять.

Только что вернулась от Анны Андреевны. Давно я не видела ее такой встревоженной и раздраженной. При мне какой-то мужской голос позвонил ей из Ленинграда с требованием срочно ехать в Комарово, а то Литфонд недоволен. По телефону она говорила спокойно, но мне, положив трубку, сказала :

— Клинический случай идиотизма.

Потом легла и попросила дать ей валидол. Лежала несколько минут с закрытыми глазами. Попробовала рассказать что-то о книге сына Лескова, которую сейчас читает, но на полуслове умолкла.

— Это все пустяки, — сказала она, помолчав. — Комарово, дача... Это все не то. Сейчас мне предстоят очень тяжелые испытания. Нет, нет, вы ничего про это не знаете. Это совсем другая область. Новая.

(1) Ни той, ни другой версии я вовремя не записала, но первую помню ясно.

В одном из рассказов Зощенко о Ленине описано, как часовой, молодой красногвардеец Лобанов никогда не выдавший Владимира Ильича в лицо, отказался однажды пропустить его в Смольный потому, что Ленин, в задумчивости, не сразу нашел в кармане пропуск. Какой-то человек с усами и бородкой грубо крикнул Лобанову : извольте немедленно пропустить ! Это же Ленин ! Однако Владимир Ильич остановил грубияна и поблагодарил красногвардейца « за отличную службу ». Пропуск нашелся и все кончилось хорошо.

Но не для Зощенко. Первоначально рассказ этот был напечатан в журнале (« Звезда », 1940, № 7). Редактор посоветовал Михаилу Михайловичу лишить человека, который грубо кричит на красногвардейца — бородки, а то с усами и бородой он похож на Калинина. М.М. согласился : вычеркнул бородку, остались усы и грубость. Сталин вообразил, что это о нем.

И участь Зощенко была решена... (А в последующих изданиях человек с усиками был заменен « одним каким-то человеком, должно быть из служащих » — безусым и безбородым).

И ничего не объяснила. И после долгого и глубокого молчания снова стала расспрашивать о Зоценко.

— Скажите правду, — попросила она. — Он на меня в обиде?

Мне не хотелось, но я ответила:

— Некоторый оттенок обиды был в его расспросах о вас... Но всего лишь оттенок. И быстро притушенный.

14 августа 1955

Анна Андреевна на днях уехала в Ленинград.

27 сентября 1955

Была у Анны Андреевны. Она сказала, что переводит Чаренца. Очень нервна. При мне совещалась с Эммой Григорьевной о следующем ходе по Лёвиному делу. Эмма Григорьевна от нее отправилась за очередной справкой в прокуратуру. Надежды растут. У Анны Андреевны какое-то новое выражение глаз — тревога, доведенная до физической боли. Что-то похожее на август 1939 года. Хотя тогда был канун разлуки, а сейчас, может быть, канун свидания.

Говорили все о том же, о том же. Анна Андреевна, сидя на своей постели и обеими руками оттягивая вниз шаль на груди, говорит:

— Словно у Пушкина сон Татьяны. Помните?

«...Вот мельница вприсядку пляшет...»

«...Здесь ведьма с козьей бородой,

Тут остов чопорный и гордый...»

«...Тут карла с хвостиком, а вот

Полужуравль и полукот...»

«...Лай, хохот, пенье, свист и хлоп...»

С нами все это случилось не во сне. Наяву слышали и видели: и лай, и пенье, и мельницу вприсядку,

и рака «верхом на пауке»... И всего пуще — длинный нож, с которого каплет кровь.

2 октября 1955

30-го вечером я была у Анны Андреевны. Там множество поздравительных звонков: невестка Нины Антоновны родила ей внучку.

Анна Андреевна послала Борю за ветчиной; пришла Эмма Григорьевна с новыми сообщениями о ходе дела; мы пили чай в столовой — потом Эмма дала Анне Андреевне подписать какую-то очередную бумагу и ушла.

Анна Андреевна вдруг сказала веселым голосом:

— А знаете, меня обругали на О!

— Как это? — спросила я, потерявшись.

— Да, да, уже на все буквы алфавита и вот теперь на О! Вышел том энциклопедии, где я обругана в статье «О журналах» (1).

Боря рассмеялся, как-то беззвучно, внутрь себя. А я вслух.

Анна Андреевна увела меня к себе. Она вчера сдала Чаренца и теперь переводит Анатоля Франса.

— Идет с подозрительной легкостью. Перевела в один день 13 страниц. Кончится это каким-нибудь скандалом.

— А вы любите Франса?

— Нет, что вы! Показная эрудиция, все это выписки. Когда-то мне нравились «Боги жаждут» — посмотрела недавно, — да это сырой материал, настриженный ножницами и еле соединенный!

Прочитала мне вслух свои 13 страниц. В самом деле, неинтересно. Я когда-то любила «Книгу моего друга» и «Жизнь в цвету» — надо будет перечитать.

(1) БСЭ, изд. 2-ое, 1954, т. 30, стр. 265 — «О журналах "Звезда" и "Ленинград"».

Мы заговорили о стихах — о Фете, Полонском, Случевском.

— Да, у всех них были дивные стихи — избранные, немногие, но самого первого класса. Кажется, только у Мея нельзя разыскать ни единой строчки.

Я спросила, как она думает, почему им было так трудно писать? Почему у каждого, при великолепных стихах, рядом провалы в неспособность, в безвкусицу?

Она сказала:

— Время для поэзии было уж очень тяжелое. Чернышевский и Писарев, а отчасти и Белинский, объяснили публике, что поэзия вздор, пустяки. Они внушали людям, кроме того, еще нечто очень верное — например, о вреде богатства, о зле социального неравенства — но этой стороны их проповеди мещане не усвоили. Зато, что поэзия вздор — они усвоили отлично и на этом основании чувствовали себя передовыми... И техника поэтами была утрачена, ею никто не занимался. А ведь такая утрата равна катастрофе. Ведь все и без поэзии знают, что надо любить добро — но чтоб добро потрясало человеческую душу до трепета, нужна поэзия, а поэзия без техники не существует.

1 ноября 1955, в санатории на Чкаловской.

Последняя неделя до отъезда сюда была суматошная. К тому же я все время болела.

Один раз в Москве перед моим отъездом навестила меня Анна Андреевна. Вместе с Эммой. Она ведет кочевой образ жизни: к Ардовым кто-то приехал.

У нее роковые дни. Решается Лёвино дело (1).

Она какая-то оглушенная. Неслышащая чужих речей. Тиха и напряжена. Да и какие тут речи! Не знаешь, о чем и говорить с ней, каждое слово кажется неуместным. Вслушивается во что-то свое с таким

(1) Далее в оригинале 4 строки густо зачеркнуты.

напряжением, будто, сидя в кресле у меня в комнате, может каждую секунду получить откуда-то долгожданную весть. Даже озирается по сторонам. Расспросила меня о здоровье, об отъезде и умолкла. Выручало присутствие Эммы Григорьевны: мы тихонько беседовали в стороне. Анна Андреевна, сидя отдельно от нас поодаль у стола, перелистывала какой-то альбом и тяжело молчала. Иногда мне казалось, что, молча, она шевелит губами: может быть, молится?

Я, неверующая, готова молиться вместе с ней. Мне-то ждать уже некого, и я готова одарить ее ожидание своим неистраченным (1).

8 ноября 1955. Санаторий «Чкаловское».

Со здешней почты я с трудом дозвонилась до Наташи Ильиной: нет ли новостей у Анны Андреевны?

Нет. Новостей нет.

Анна Андреевна бездомна, кочует от Шенгели к Раневской, от Раневской к Петровых. Часто целые дни проводит у Наташи.

Решения нет.

(1) Я познакомилась с А.А. в пору ее хлопот о сыне, а моих — о муже, Матвее Петровиче Бронштейне.

Матвей Петрович Бронштейн — физик-теоретик, сотрудник Ленинградского Физико-Технического Института имени А.Ф. Иоффе, автор научных работ, печатавшихся с 1932 по 1937 год в «Журнале экспериментальной и теоретической физики»; и в «*Physikalischen Zeitschrift*»; кроме того, автор нескольких научно-популярных и научно-художественных книг.

О нем см. М.С. Соминский «Абрам Федорович Иоффе», изд. «Наука», М.-Л., 1964, стр. 609-610; В.Я. Френкель «Яков Ильич Френкель», изд. «Наука», М.-Л., 1966, стр. 207-213; С. Маршак «Повесть об одном открытии» — альманах «Год XVIII», под ред. А.М. Горького, № 8, ГИХЛ, М., 1935, стр. 410; Л. Ландау «Несколько слов об этой книге» (предисловие к книге М. Бронштейна «Солнечное вещество», изд. 2, Детгиз, 1959); Д. Данин «Жажда ясности» — «Новый Мир», 1960, № 3.

М.П. Бронштейн был арестован в 1937, расстрелян в 1938 (о чем я узнала только через несколько лет) и реабилитирован в 1957 году.

16 ноября 1955, Чкаловская

Читаю № 11 « Нового Мира », там новые письма Блока и его пометки на книгах — в частности, на книгах Ахматовой, чье имя упоминается редакцией без бранных определений.

11 декабря 1955, Москва

Третьего дня вечером была у Анны Андреевны.

У нее Эмма Григорьевна, смотрит в столовой телевизор. Мы много были одни.

Реабилитирован Квитко. Посмертно.

Реабилитирован Мейерхольд. Посмертно.

Этими сообщениями встретила меня Анна Андреевна. Я не посмела спросить о Леве. Она сказала сама :
— С Левой плохо.

Потом осведомилась, занимаюсь ли я реабилитацией Матвея Петровича. Я сказала : да, занимаюсь, хотя и безо всякой охоты. В попытке оправдать себя нуждается не он, а его убийцы. В глазах моих, в глазах всех порядочных людей, он ни в чем и не был повинен. Они расстреляли его просто так, для ровного счета, по какой-нибудь из своих рубрик. Я не стала бы добывать бумажку, но увы ! без нее невозможно воскресить его книги. Сама я в приемную не пойду — она та же ! — я не в силах — и поручила хлопоты знакомой юристке. А ей пообещали сообщить номер Митиного дела через полтора месяца. Когда будет известен номер, прокуратура найдет дело и приступит к пересмотру.

— Через полтора месяца пообещали сообщить номер ! — повторила Анна Андреевна. — Вы понимаете, что это значит ? Сколько же там этих номеров ? этих карточек ? этих дел ? Миллионы. Десятки миллионов. Если положить их одно на другое, они покроют расстояние от Земли до Луны.

Я сказала, что пересматривать каждое дело в

отдельности представляется мне идиотской затеей. Ведь никаких индивидуальных, частных дел в 37-38 гг. не было или почти не было : тогда истреблялись целые слои, целые круги населения : по национальному, по номенклатурному, по анкетному признаку : то директора всех заводов, то первые и вторые секретари обкомов и райкомов, то пригородные финны, то лица польского происхождения, то все, кто дрался в Испании, то чистильщики сапог, то глухонемые, то все, у кого за границей родственники или кто сам побывал за границей. Ну, конечно, в стройную программу врывался некоторый хаос — та же бездна поглощала и тех, кто не угодил местному начальству или своему соседу по коммунальной квартире. Время для сведения личных счетов было удобнее. Арестованным, всем без разбора, фабрика, изготовлявшая « врагов народа », предъявляла вымышленные и притом одинаковые обвинения : диверсия, шпионаж, террор, вредительство, антисоветская пропаганда. Какой же смысл теперь пересматривать каждое дело в отдельности ? В лагеря надо срочно послать спасательные экспедиции : врачей, лекарства, еду, теплую одежду — и поездами, самолетами, пароходами вывезти оттуда тех, кто еще жив. И общим манифестом реабилитировать всех зараз, живых и мертвых, или, точнее, разоблачить самое заведение, фабрикующее « врагов народа ». Если станут ясны масштабы и методы фабричного производства, то и изучать каждое дело в отдельности не будет нужды. А то все всерьез : номера дел ! поиски папок ! Чушь.

Анна Андреевна слушала мою сбивчивую и длинную речь терпеливо и спокойно, даже не указывая, как обычно, глазами на потолок. Потом заговорила сама с нарочитым бесстрастием.

— Ваши рассуждения справедливы, — сказала она — но лишены трезвости. Вам угодно воображать, что остальные люди не менее вас рады возвращениям и реабилитациям, и ждут не дождутся, когда воротятся

все. Вы ошибаетесь. Сообразить легко, что если пострадавших миллионы, то и тех, кто повинен в их гибели, тоже не меньше. Теперь они дрожат за свои имена, должности, квартиры, дачи. Весь расчет был: оттуда возврата нет. А вы говорите: самолеты, поезда! Что вы! Оказаться лицом к лицу с содеянным?! Никогда в жизни.

Она умолкла. Она смотрела на меня снисходительно и даже не без насмешливости. Как на маленькую.

«...а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют
И пусть унесут фонари...
Ночь» —

повторила я про себя.

— А все-таки, — сказала я — фонари зажигаются. Сталин умер, умер в самом деле, мы до этого дожили, и Берия расстрелян. И тысячи людей уже воротились домой. И Лева вернется.

Анна Андреевна не ответила мне ничего и, помолчав, переменяла разговор. Она рассказала, что «осыпана милостями», «обласкана»: читала в Союзе переводы корейцев, Алигер просит у нее стихи для «Литературной Москвы», и она хотела бы дать стихотворение «Третью весну встречаю вдали от Ленинграда», но не помнит, печаталось ли оно. И, «слушайте, слушайте!» — поговаривают об издании ее одногомника.

— Вы верите? — спросила она меня.

— Чего не бывает! — ответила я.

— Не бывает именно этого. Со мной. Мне недавно рассказывала одна моя приятельница о своем детстве. И говорит: когда мне было 7 лет, я написала письмо отцу. «Сегодня я после долгого перерыва каталась на лодке. Мне было трудно грести от долгого некатания на ней». Вот и мне трудно поверить, что выйдет моя книга — повидимому, «от долгого некатания на ней».

Оставив телевизор, пришла к нам Эмма Григорьевна. Заговорили о последних фильмах. Анна Андреевна хвалили «Терезу Ракен» и весьма критически отозвалась о фильме «Красное и Черное».

— Хороша там только семинария. От Наполеона ничего не осталось, кроме сундучка... А эта несчастная дама, которая по собственному дому ходит ночью в чулках и видно, какие у нее старые ноги...

Я спросила Эмму Григорьевну, как поживает А.О., и ответ ее дал повод к примечательной реплике Анны Андреевны. А.О., по словам Эммы, процветает, ее литературные дела наладились, и у нее три поклонника сразу: один молодой и двое престарелых.

— Трое, — маловато, — с деловитой серьезностью перебила ее Анна Андреевна. — Когда у меня их заводилось много зараз, Коля Гумилев говорил: «Аня, более пяти неприлично». И все молодые. Старые были не приняты. Не шли в счет.

16 декабря 1955

Вчера вечером ездила в гости к Наташе Ильиной, куда давно обещала — и там неожиданно Анна Андреевна. Говорливая, улыбчивая, радостная. Несколько удач сразу: известный ученый (я сразу забыла фамилию) написал письмо о Леве; снова была Алигер и просила стихи; корейцы посланы на лондонскую выставку — к тому же, бутылочка муската на столе, и я с завистью смотрела, как они вдвоем ее выпили.

Разговор перескакивал с одного предмета на другой — не разговор, а, точнее, монолог Анны Андреевны. Мельком она сообщила, что навещала Маршака, и между ними состоялась беседа, как она выразилась, «историческая»: «впервые я поняла, в чем сила этого человека». (Меня радует новая дружба двух старых знакомых — в Ленинграде, да и позднее в Москве, Анна Андреевна нередко отзывалась о Маршаке не без иронии. Жаль, она не сказала, о чем была беседа).

Затем принялась бранить Бунина: « Ворон », « Легкое дыхание », « Антоновские яблоки », « Солнечный удар »... Я спросила, знает ли она Леопарди, которого так высоко ценил Герцен. Она ответила « это из серии « Века и народы », и к той же серии причислила стихи Брюсова и Бунина.

Сообщила слух о предполагаемом издании Цветаевой и Гумилева.

Дал бы Бог.

Я стала подтрунивать над Наташей, вкушающей первую славу. « Не притворяйтесь, — сказала я, — вы, наверное, очень довольны. Поначалу слава, я думаю, похожа на любовь: приятно чувствовать, что тебя любят ».

— Ничего общего, — сразу перебила меня Анна Андреевна. — Слава — это значит, что вами обладают все и вы становитесь тряпкой, которой каждый может вытереть пыль. В конце жизни Толстой понял ничтожество славы и в « Отце Сергии » объяснил, что от нее надо отмыться. Я особенно уважаю его за это.

В машине на обратном пути Анна Андреевна попросила меня проверить в библиотеке — печаталось ли стихотворение « Кто мне посмеет сказать, что здесь я на чужбине » — она хочет отдать его Алигер.

Попытаюсь.

18 декабря 1955

Хожу каждое утро в Ленинскую, читать газеты для Шмидта (1). От газетного шрифта сразу начинает болеть глаз и потом болит уже весь день. Вчера перелистывала также журналы, в поисках ахматовской « Третьей весны », но не нашла, хотя пересмотрела « Звезду », « Ленинград », « Ленинградский альманах », за 44, 45, 46 годы. Теперь осталось « Знамя ». Работа

(1) Я работала тогда над сценарием о лейтенанте Шмидте.

эта не зря, потому что общая библиография Анне Андреевне все равно нужна.

Третьего дня была у нее. Доложила. Раз не напечатана эта ташкентская весна, стало быть ее можно отдать Алигер. А еще Анна Андреевна решила предложить «Литературной Москве» элегию «Есть три эпохи у воспоминаний». Ею я была наново изранена, прочтя ее переписанную. Люблю; но вещь беспощадная — быть может, самое обезнадеживающее стихотворение во всей русской поэзии. Не грусть, не печаль, не трагедия: жестокость. Этими стихами поэт отнимает у человека последнее достояние: уж не любовь, а самую память о любви, уже не людей любимых, а самую память о них. «Мы сознаем, что не могли б вместить То прошлое в границы нашей жизни, И нам оно почти что так же чуждо, Как нашему соседу по квартире»... «А возвратившись, моют руки мылом» — воротившись от старых писем! Оскорбительно здесь это «мылом»... Тютчев о смерти горя говорит гораздо возвышеннее:

«Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.»

По крайней мере без мытья рук мылом и без соседа по квартире. Без изощренной жестокости.

Но отвагою злой правды и сильна ахматовская элегия. Отвагой чувств и мыслей.

— Не знаю, почему эта элегия для вас такое страшилище, — сказала Анна Андреевна в ответ на мои рассуждения. — Никто мне этого не говорил. Элегия как элегия.

Не говорил! Но она должна знать это сама от себя. А может быть я чего-то не понимаю тут? — и «все к лучшему» в конце сказано не с иронией, а всерьез?

— Страшнее, чем пытка счастьем? — спросила Анна Андреевна.

— Несравненно ! — ответила я.

Анна Андреевна озабочена сейчас экспедицией Эммы Григорьевны в Ленинград : Эмма поехала добывать письмо о Леве от Артамонова (1). Материалу уже хватило бы на целый том писем и заявлений о Леве. Это будущий шестой том в собрании сочинений Ахматовой : том дополнительный, отдел « приложения ». Может быть и какие-нибудь цитаты из Левиного дела будут приведены, хотя я сильно сомневаюсь в существовании такового : он сын Николая Степановича, вот и все дело.

Анна Андреевна вглядывалась в темноту окна.

— Утром, когда солнце восходит, здесь так красиво, — сказала она, указывая во тьму. — Видна колокольня Клементовского собора, освещенные деревья в снегу и голуби. Мы отвыкли от голубей, а в Царском они были повсюду. И в Венеции.

(Царское я знаю, хотя и не ее времени и уже без голубей, а вот в Венецию воображением никак последовать за ней не могу : даже несмотря на Герцена, на « Охранную грамоту », на ее и Мандельштамовские стихи).

Венеция ? А существует ли в самом деле на свете Венеция ? Не уверена я.

В столовой кричал телевизор, брат Нины Антоновны смотрел « Белую Гриву ». Я спросила у Анны Андреевны, что это за вещь. Не помню, о « Белой » ли « Гриве » или о чем другом, но она сказала :

— Существует совершенно непонятный для меня и вредный на мой взгляд род американских картин — анти-человеческих, против человека. Пума хорошая, а человек плохой.

Потом вдруг :

(1) Профессор Михаил Илларионович Артамонов — историк, археолог; занимался этногенезом и ранней историей славян. В тридцатые годы проф. Артамонов производил раскопки на Дону; там под его руководством работал Л.Н. Гумилев.

— Сейчас я вас удивлю. Я совсем, совсем распростила с одним поэтом. Его для меня просто нет больше.

— С кем же это ?

— С Есениным.

— Ну уж нашли чем удивить ! Вы и раньше его не жаловали.

— Все-таки, хоть и не жаловала, но признавала. А теперь, вчера, Боря прочитал мне стихотворение, в котором поэт скорбит, что у него редют волосы и как же теперь быть луне, что она, бедненькая, станет освещать ? (1) Подумайте, в какое время это написано.

И долго еще потешалась и сердилась по этому поводу.

Пошли в столовую чай пить. (Телевизор умолк). За столом — о письмах Карамзиных. Потом — о Пушкине и Мицкевиче :

— У нас очень радуются легенде, будто Пушкин и Мицкевич были друзья. Складно выходит. А между тем, это выдумка. После отъезда из России Мицкевич совсем не интересовался Пушкиным, что видно например из его статьи, которую перевел Вяземский (2) : ничего о Пушкине Мицкевич не знал, не читал его новых стихов, хотя все ездили за границу и могли привезти что угодно, даже и « Медного Всадника ». Пушкин же в черновиках « Он между нами жил » честил Мицкевича отчаянно. И в « Египетских ночах » — импровизатор, это, конечно, Мицкевич, — и какой он там неприятный !

— Как вы думаете, — спросила меня Анна Андреевна, уже простившись со мной у дверей, — Артамонов даст Эмме письмо ?

(1) Повидимому, А.А. имела в виду стихотворение « По осеннему кычет сова » — см. С. Есенин. Собрание Сочинений в 5 томах. М., 1961, т. 2, стр. 92.

(2) « Биографические и литературные данные о Пушкине » — « Полное Собрание Сочинений кн. П. А. Вяземского », т. VII, стр. 310, СПб, 1882.

— Конечно, даст! — ответила я, не имея об Артамонове ровно никакого понятия (1).

26 декабря 1955

Вчера днем навещала Анну Андреевну: она в больнице. Подозрение на аппендицит. Во 2-ой Градской. Я была недолго — внизу ожидали Мария Сергеевна и Наталия Иосифовна. Палата на шесть человек, душно. И возле грязной стены — профиль и руки Ахматовой. Она полусидит, опираясь на блин подушки.

— Сегодня утром просыпаюсь, — сказала Анна Андреевна, — слышу, одна больная спрашивает другую: «А что, бабка та в углу — еще не померла?»

Но выглядит она не худо, даже — чуть розовая.

После того, как я все у нее выведала насчет докторов и анализов (сейчас никаких болей уже нет, и был ли то приступ аппендицита или чего другого, еще неизвестно), она спросила вдруг:

— Я давно хочу, чтобы вы мне напомнили: когда я читала поэму у вас — тогда, в Ленинграде, — что говорила Тамара Григорьевна? Помню — интересное, но я забыла, что.

С точностью я могла вспомнить только одну мысль — Тамара Григорьевна сказала Анне Андреевне: «Вы будто поднялись на высокую башню и оттуда, с высоты другого времени, взглянули вниз, в прошлое».

— Потом эти ее слова вошли в вашу поэму строками:

«Из года сорокового

Как с башни на все гляжу...» — добавила я.

— Так и вижу свою комнату, как вы сидите, куря, на диване, а Тамара Григорьевна стоит, прижавшись

(1) Письмо в защиту Л.Н. Гумилева профессором М.И. Артамоновым действительно было дано.

спиной к книжным полкам. Знаете, она ведь всегда любит рассуждать стоя.

— В лиловом шарфе? — быстро спросила Анна Андреевна.

— Да.

Она помолчала и, опираясь на руки, поднялась немного повыше.

— Странная вещь, — сказала она. — Очень странная. Всегда я свои стихи писала сама. А вот «Поэму» иначе. Я всю ее написала хором, вместе с другими, как по подсказке. Вот и про башню.

30 декабря 1955

Вчера отвозила Анне Андреевне в больницу сок черной смородины — говорят, это лучшие витамины. Была у нее недолго, некоторое время вместе с Эммой Григорьевной. Эммочка докладывала о своем походе к Конраду (1). Анна Андреевна сказала, что если ее и будут оперировать, то не раньше, через 2 недели, когда «живот успокоится». Эмма Григорьевна скоро ушла, а я еще побывала немного. Анна Андреевна пишет какие-то новые стихи про Азию (2). Я спросила, не мешают ли ей тут работать.

— Нисколько, — ответила она.

Бранила стихи Бориса Леонидовича — «На дереве свистит синица» и «Хмель».

— Про халат с кистями... как она падает в объятья... И как ложатся в роще... Терпеть не могу. В 60 лет не следует об этом писать.

Когда-то, в Ленинграде, Анна Андреевна говорила мне, что из Пастернаковских любовных стихов возникает обычно образ любви, но не образ женщины, к

(1) Николай Иосифович Конрад, филолог-востоковед, знаток Японии и Китая, в то время член-корреспондент Академии Наук. Принимал большое участие в хлопотах за Л.Н. Гумилева.

(2) См. «Литературная Москва», т. I.

которой они обращены. «А вот в "Свидании", — сказала я — женщина видна очень ясно. Тут не только портрет чувств, но и портрет героини».

— Научился, — согласилась Анна Андреевна. — Это ему труднее всего далось. Раньше он умел только про природу, про любовь и про искусство. Но не про людей.

Уйдя, я подумала, что она не права. Разве в «Шмидте» нету Шмидта, (речь на суде), и, скажем, «агитаторши-девицы», а в «Морском мятеже» — матросов?

— Я зачем к тебе, Степа, —

Каков у нас младший механик?

— Есть один.

— Ну и ладно.

Ты мне его наверх отправь.

Тут по голосам люди так слышны, что даже, можно сказать, и видны.

И в стихах «Годами когда-нибудь» — разве не видна художница?

«Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб».

Наверное, говоря о неумении создавать людей, Анна Андреевна имела в виду только первые книги Пастернака.

4 января 1956

В первый день Нового Года я навестила в больнице Анну Андреевну. Ее скоро выпишут. Оперировать если и будут, то не раньше, чем через полтора месяца. Чувствует она себя хорошо: свободно сидит и спускает ноги с кровати. Я принесла ей в подарок ташкентскую

запись Якова Захаровича (1). Кажется, она была довольна. Потом я рассказала ей, что Корней Иванович получил смешное письмо от Машеньки, в котором та пишет : « у вас жара, а у нас холодно » (2). Маша побывала в Переделкине в июле, и думает, что там и теперь жарко.

Анна Андреевна сказала :

— Представления детей о мире статичны. Мир для них весь в статике, твердо установлен раз навсегда. Старость уже знает динамику, знает перемены и ждет их. Детство — нет.

Она попросила меня навести порядок на подоконнике, в тумбочке, выбросить ненужную бумагу, вымыть баночки и пр. Для этого мне пришлось побегать по коридору. Я смотрела кругом. Какая бедность, какое убожество — эти рваные халаты не по мерке, эти рубища, эти грязные стены. Вернувшись к Анне Андреевне и взглянув на нее, я подумала :

« Но грязь обстановки убогой
К ней словно не липнет... »

Из пакета, принесенного мной, она взяла в руки апельсин, и в ее маленькой властной руке он сразу стал похож на державу.

6 января 1956

Анна Андреевна уже дома, но я к ней еще не поспела.

(1) Яков Захарович Черняк — литературовед, специалист по Огареву, сотрудник «Литературного Наследства» и мой большой друг, скончавшийся в 55 году. Разбирая бумаги покойного, жена его, Елизавета Борисовна, обнаружила запись, сделанную Яковым Захаровичем в Ташкенте : о том, как он посетил Ахматову.

(2) Машенька — пятилетняя правнучка К.И.

8 января 1956

Была вчера у Анны Андреевны. Она на ногах, осунувшаяся, но бодрая. У нее Эмма. Обсуждают «тагильскую» находку. Хозяев нету дома; Эмма кормит Анну Андреевну какой-то диетической едой, которую заранее приготовила Нина Антоновна. Я налегаю на чай: мороз лютый, никак не отогреешься. Анна Андреевна, прервав свою беседу с Эммой, заговорила о письмах Карамзиных (1) и попутно принялась излагать собственную концепцию гибели Пушкина; над книгой о его гибели, она, по ее словам, работала целых шесть лет, потом потеряла все написанное («зелененькие тетрадки») и теперь снова нашла.

Все происходило не три года, а развернулось мгновенно.

Автор анонимок — Геккерн, при участии Долгорукова, а, быть может, и Гагарина.

Пушкин был у царя и представил ему доказательство вины Геккерна; если бы он представил не доказательства, а лишь предположения — его сослали бы в Нерчинск. А какие же? Повидимому, Долгоруков предал Геккерна Пушкину.

Геккерн и Дантес — карьеристы и мерзавцы. Дантес вовсе не любил Наталию Николаевну; изображал высокую страсть, чтобы не выгнали из кавалергардов за отказ от дуэли; Екатерина Гончарова была от него беременна, и он женился на ней весьма охотно потому, что ему, при его подмоченной репутации, трудно было сделать лучшую партию... Во всех своих расчетах мести Пушкин ошибался совершенно.

Наталия Николаевна не только глупа; это хищная, жадная, злая стерва. Дантеса обожала.

(1) В № 1 «Нового Мира» за 1956 г. были опубликованы письма Карамзиных в Париж, Андрею Николаевичу Карамзину, неожиданно обнаруженные в Тагиле; письма дают ценный материал для истории пушкинской дуэли. (И. Андроников «Тагильская находка»).

Его любили все: и молодежь у Карамзиных, и Вяземские. Пушкин к моменту дуэли одинок.

Из опубликованных писем оказывается также, что Софья Николаевна Карамзина была пустейшая дура.

На этом месте нашу беседу шумно прервали хозяева, вернувшиеся домой с закусками и водкой. Я заторопилась на метро.

16 января 1956

Вчера пришла я к Анне Андреевне, а у нее, говорят, врач, хирург Л. Я уселась ждать на кухне, п. ч. в столовой кричал телевизор. Вдруг слышу из комнаты Анны Андреевны: мужской голос читает стихи. Я вошла. Это читал врач.

Стихи плохие. Но меня, к счастью и само собой разумеется, никто не спрашивал, Анна же Андреевна вяло и вежливо хвалила.

Л. записал на бумажке десять своих телефонов, объявил, что колбасы и ветчины нельзя, но грубую пищу можно, и уехал.

От операции он рекомендовал воздержаться.

Анна Андреевна повидимому очень довольна, что с медициной на некоторое время покончено. Она засунула телефонно-диетный листок в сумку, сказав, «это для Ниночки» и велела мне прочитать вслух стихи Асеева, напечатанные в «Огоньке» (1).

Когда я прочитала их, она сказала:

— Асеев принадлежит к тому поколению поэтов, которое выступило как молодое, молодость была главным признаком школы, и они были уверены, что молодость будет принадлежать им всю жизнь. А теперь, когда они уже несомненно старые, они никак не могут с этим освоиться.

Из ванной пришла к нам Эмма Григорьевна, специ-

(1) «Зрелость» — «Огонек», 1956, № 3.

ально приехавшая сюда купаться. В чьем-то чужом халате, с мокрыми распущенными волосами, она устроилась на постели сушить их. Речь зашла о молодых, выступавших по телевизору. Анна Андреевна потешалась над одной девицей, которая подробно рассказывала, как ее принимала акушерка.

— Меня называли старухой уже в 30 лет, — сказала Анна Андреевна. — И даже не старухой, а стариком.

— Как это? — в один голос вскрикнули мы с Эммой.

— Да, да, в рецензии на один альманах говорилось: «тут же напечатаны и старики: Ахматова и Мандельштам».

Эмма Григорьевна покатила со смеху, она даже как-то всхлипывала от смеха.

Анна Андреевна ткнула в ее сторону пальцем:

— Вот голос друга! — и торжественно вышла из комнаты распорядиться насчет чая.

28 января 1956

Вечером сегодня была у Анны Андреевны.

Утром, в Переделкине, я видела Бориса Леонидовича, и потому разговоры вечерние по большей части о нем.

Я попробовала было описать нашу встречу «в общем» —

— Нет, о Борисе так нельзя, — сказала Анна Андреевна, — Борис это Борис. Извольте, как следует.

Она сегодня одушевленная, живая, нарядная; сверкают перстни на пальцах и промытое, гладкое серебро седины.

...Иду на поезд. В одной руке чемоданчик, в другой — муфта, которой я прикрываю от ветра лицо. Метель пастернаковская и там, с левой стороны дороги, березы наряжены тоже в пастернаковский иней. «Вьюга мне слипает очи», а платок, поверх шубы и шапки, спол-

зает на лоб и хуже встречного снега мешает глядеть. И вдруг, я вижу, навстречу мне человек, большой, широкий, в валенках. Хозяин здешних мест и метелей — Пастернак. Я бросила в снег чемоданчик и муфту, он — рукавицы, обнял меня и поцеловал прямо в губы. Потом поднял мне всё мое, подал — « я немного провожу вас » — и пошел рядом. Я смотрела на него сбоку, искоса, платок и снег мешали видеть ясно. Кажется, он похудел, лицо заострилось. Он сразу заговорил о романе : « Шестьсот страниц уже. Это главное, а, может, и единственное, что я сделал. Я пришлю рукопись Корнею Ивановичу, а потом вам » (1).

Я спросила про театр.

— « Малый » поставил « Макбета ». Мне с ними легко, потому что они мне менее родственны, чем МХАТ. Они просто хорошие люди, хорошие актеры — Царев, Гоголева — а в отношениях моих с МХАТ'ом наличествует некий лунатизм.

Слева началась новая цитата из Пастернака : кладбище. Сам он обрастал снегом, белел, круглел, ширел — шапка и плечи в снегу — не человек — сугроб. Он спросил меня, что делаю я. Ответила : сценарий о Шмидте, и добавила, что Зинаида Ивановна еще жива (2).

Он остановился и потер рукавицей лоб. Снег полетел между нами. « Зинаида Ивановна ? — повторил он. — Жива ? » — « Да, — сказала я — она, говорят, сейчас работает медицинской сестрой в каком-то ванном заведении в Крыму ». Мне казалось, он все не понимает. — « Та самая, Борис Леонидович : "однако как свежо Очаков дан у Данта" ».

(1) По приглашению Б.Л. я несколько раз слушала роман. Один раз он сам заехал за мной — когда читал у Юдиной. Говорил, что слушателей романа ощущает, как « некое особое племя ».

(2) Зинаида Ивановна — некогда таинственная З.И.Р. — невеста Шмидта; Пастернак в своей поэме использовал ее воспоминания.

Он понял, помычал от удивления (в самом деле, то, что Зинаида Ивановна жива, так же удивительно, как если бы вдруг оказалась жива другая дама из другой эпохи — например. Наталия Николаевна Пушкина), и мы пошли дальше. Идти навстречу ветру в гору было трудно, он взял у меня из рук чемоданчик. Заговорили об ожидаемой «Литературной Москве».

— Нет, нет, никаких стихов. Только заметки о Шекспире, да и те хочу взять у них. Вышло у меня с ними так неприятно, так глупо... Какая-то странная затея: всё по-новому, показать хорошую литературу, все сделать по-новому. Да как это возможно? К. . . . (1) по-новому! Вот если бы к. . . . (2) — тогда и впрямь ново... У меня с ними вышла глупость. Я такой дурак. Казакевич прислал мне две свои книжки. Мне говорили: «проза». Я начал смотреть первую вещь (3): скупое, точно. Я и подумал: в самом деле. В это время я как раз посылал ему деловую записку, взял да и приписал: «я начал читать Вашу книгу и вижу, что это прекрасная проза». И потом так пожалел об этом! Читаю дальше: обычное добродушие... Конечно, если убить всех, кто был отмечен личностью, то может и это сойти за прозу... Но я не понимаю: зачем же этот новый альманах, на новых началах — и снова врать? Ведь это раньше за правду голову снимали — теперь, слух идет, упразднен такой обычай — зачем же они продолжают вранье?

Мы взойшли на гору. Он умолк и на мои попытки продолжать разговор отзывался вяло. Я почувствовала, ему уже не хочется идти рядом со мной, а хочется туда, куда он спешил до нашей встречи. Он как оскудевающий ручей, который вдруг начинает просыхать,

(1) Партийному съезду.

(2) Беспартийному.

«Звезда», «Весна на Оudere» и «Сердце друга».

(3) К 1955 году из крупных вещей Э. Казакевича вышли:

утекать в землю. Он ведь случайно встретил меня, случайно пошел рядом. Теперь он оскудевал.

— Вы похудели и потому стали похожи на Женю, — сказала я, не зная, что сказать.

Ответ прозвучал неожиданно :

— Разве Женя красивый ?

Я не нашлась...

— Тут никто не найдется ! — прервала меня Анна Андреевна.

« Он поставил мой чемоданчик в снег, повернулся и побежал с горы вниз и уже из далекой сплошной белой мути я услышала басистое, низкое, мычащее : "до свиданья !" »

— Да, — сказала Анна Андреевна. — Вот это Борис. « Мело, мело по всей земле Во все пределы ». Конечно, русская метель теперь навеки пастернаковская, но о ней писали и Пушкин и Блок, а вот так ответить насчет Жени — это может один только Борис Леонидович. Это самый что ни на есть пастернаковский Пастернак. « Вы стали похожи на Женю » — « А разве Женя красивый ? » Я расскажу это Ниночке. И до станции вас не проводил с чемоданом !

Я призналась, что мне очень хотелось бы, чтобы Борис Леонидович прочитал мою повесть (1).

Анна Андреевна замахала на меня руками.

— Нет, нет, ничто чужое его не интересует. Это не Осип, который носился по городу с каждой чужой строкой, как собака с костью. Этот ничего чужого не может слышать. В сороковом году я послала ему свои « Из шести книг » — и он прислал мне письмо — помните ? — из которого я поняла, что он читает меня впервые.

Словам ее противоречит один весьма существенный факт : стихи Пастернака Ахматовой, написанные в 1928 г. Там о ее ранних книгах сказано очень точно :

(1) « Софью Петровну ».

«где зрели прозы пристальной крупницы». Как же это — не читал?, а определение дано меткое.

— Ну, это по причине собственной гениальности, — сказала Анна Андреевна. — Никогда ничего не читал, кроме «Лотовой жены», напечатанной в «Русском Современнике», где он печатался сам.

Важное — она прочитала мне свои стихи, не то 45 не то 46 года, которые, она говорит, были забыты ею, недавно к ней вернулись и записаны с чужих слов. «И умерли свидетели Христовы». Прочитав, медленно и очень печально эти стихи, она протянула мне листок и позволила переписать. Какая безумная ахматовская энергия и дерзость — вдруг точно с обрыва летишь! — сказать о мертвых:

«Их выпили с вином, вдохнули с пылью жаркой...»

Мертвых вдохнули с пылью, выпили с вином... А о слове в последнем четверостишии сказано с такой мощью, с какою только и имеет право поэт говорить о слове.

Ржавеет золото и истлевает сталь.

Крошится мрамор. К смерти все готово.

Всего прочнее на земле печаль

И долговечней — царственное слово.

Само это четверостишие — прочнейшее сооружение на века. И движется стих царственной поступью(1).

(Разглядывая листок, я теперь ясно поняла: по-

(1) Стихи эти были обнаружены в тетрадах А.А. и присланы мне В.М. Жирмунским в другом виде. Только последнее четверостишие точно совпадает с тем, что она прочитала мне тогда. Вероятно, впоследствии она либо заново переработала эти стихи, либо сама нашла свой прежний вариант. Теперь уже известно начало: «Кого когда-то называли люди» и пр. — которого тогда не было — и в следующем четверостишии разночтение во второй строке: вместо — «И в гору шел, согнувшись, водонос» стало «Где билось море, где чернел утес».

черков у нее два. Один — беспомощный, кругловатый, детский, вкось — и не очень особенный, на все, в сущности, похожий. Это один. А другой — тот, которым она делает надписи: затейливый, твердый, ни с чьим не спутаешь; слова точно и расчетливо распределены на странице, будто это не надпись, а рисунок...

Этот у меня в руке, на листочке — был детский, незащищенный.

Мы снова вернулись к Пастернаку и к Шмидту. В настоящую минуту я «шмидтовед» — и Анна Андреевна расспрашивала меня подробно о нем, о З.И.Р., о матросах, о сестре Шмидта, которую я видела — и еще о том, насколько Пастернак точно шел по документам. (Очень точно). Я призналась ей в странном своем ощущении: хотя я родилась в 907, но мне всегда кажется, будто я помню 905 год, будто я сама его пережила — и это благодаря «905 году» Пастернака и «Виктору Вавичу» Житкова. Когда я упомянула о Севастополе, Анна Андреевна сказала, что она жила на той же улице, где Шмидт — на Соборной, в доме Семенова. И добавила:

— Главная черта моей биографии — все дома, где я жила, стерты с лица земли. Севастополь, Царское... Один мой усердный почитатель — заика — поехал в Царское поглядеть на мой дом. Я ему объяснила: второй от вокзала. Вернулся, спрашиваю — как? «Ттам рабботтает ттрактор»... Оказывается, на том месте прокладывают бульвар.

10 февраля 1956

На днях я у Анны Андреевны. Разговор о Толстом.

— Обожаю, когда старик начинает выбрыкивать! «Крейцера соната» — самая гениальная глупость, какую я когда-либо читала. За всю его долгую жизнь ему ни разу и в голову не пришло, что женщина не только жертва, но и участница на 50 %.

У ног Анны Андреевны — маленькая электриче-

ская печка. В доме почему-то не топят. Из соседней комнаты голоса и шум : там играют в карты.

29 февраля 1956

Слухи, слухи, ничего толком не разберешь. Неужели мы дожили до Слова ? (1).

Вечером на-днях за мною заехала Наталия Иосифовна — я обещала взглянуть на ее новое жилье. Внизу, в такси, ждала Анна Андреевна. Я сразу почувствовала, что она напряженная, тревожная, недобрая. Я спросила о здоровье.

— Сердце, как утюг. Вчера целый день лежала. Сегодня утром под гнетом утюга переводила Чаренца. Перевела 44 строки.

Мы приехали. Наконец-то у Наташи сносное жилье. Тепло, на окнах уютные ставни, чисто и, главное, тихо. Довольно она мыкалась по патефонно-телевизорным углам.

Анна Андреевна, тяжело дыша, опустилась в кресло. Я спросила : и сейчас утюг ?

— Нет, — ответила она с раздражением и принялась ожесточенно бранить « Литературную Москву ».

— Совсем дикие люди. Один из редакторов поместил 400 страниц собственного романа. Редактор не должен так делать. Это против добрых нравов литературы.

О стихах Асеева :

— Не стихи, а рифмованное заявление в Моссовет.

Об одном рассказе :

— Совершенное ничто. Недоразумение какое-то. Полный ноль. Однажды Мейерхольд сказал мне про Любовь Дмитриевну Блок : « Я никогда не видел женщины, менее приспособленной для игры на сцене ». То же я могу сказать об авторе рассказа : « Я никогда не видела человека, менее приспособленного для литературной деятельности ».

(1) Слухи о разоблачении Сталина на XX Съезде.

Когда Наталия Иосифовна убежала за покупками, Анна Андреевна объяснила мне, почему вчера утюг: опять Левино дело ни с места. Кроме того, ее страшно тревожит то же, что и нас всех: съезд, разговоры о Сталине. Разоблачить Сталина — это ведь значит вернуть домой миллионы людей и произнести правду о «замученных и убиенных».

Наталия Иосифовна принесла закуски и бутылочку. Мне налили скучный чай, а они вдвоем потягивали веселое вино. Я, как всегда, томилась завистью, Анна Андреевна, как всегда, от вина помолодела и порозовела.

Рассказала нам, что на ней хотел жениться Пильняк.

— Он был вполне человеком 22 года — и только, — сказала она (Я не совсем понимаю это определение). — Корзины цветов, когда ехал на Север и на возвратном пути. Меня удивляла такая настойчивость: мы даже дружны особенно не были.

Затем мы сверяли с ней по памяти впечатления от стихов московского альманаха. В большинстве случаев мнения ее и мои совпали, но не во всех. Обоим нам нравятся «Журавли» Заболоцкого, но мне еще очень и «Некрасивая девочка», а ей — нет. Обоим нам понравилась «Осень» Алигер и обоим нет — Мартынов. (Я Мартынова вообще не люблю, на мой взгляд — это соединение рассудочности, рационализма, бессердечия, риторики. И навязчивой многозначительности). Анне Андреевне, насколько я поняла, стихи его в альманахе тоже не пришлись по душе, но с общей моей характеристикой Мартынова она не согласилась.

— Я не отношусь к нему с такой безнадежностью, — сказала она.

Потом Наташа прочитала нам свою великолепную пародию на приключенцев (1). Я прямо-таки покаты-

(1) Пародия опубликована в журнале «Молодая Гвардия», 1957, № 1.

валась со смеху, Анна Андреевна радовалась каждому удачному повороту.

Но когда я провожала ее домой в такси, она снова была уже печальной и серьезной.

4 марта 1956

Анна Андреевна стояла, слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, но как будто не для меня одной, а с трибуны.

Мы стояли друг против друга — в маленькой комнате, в ясном свете окна, между столом и кроватью.

— Сталин, — говорила Анна Андреевна — самый великий палач, какого знала история. Чингизхан, Гитлер — мальчишки перед ним. Мы и раньше насчет него не имели иллюзий, не правда ли? а теперь получили документальное подтверждение наших догадок. В печати часто встречалось выражение: «лично товарищ Сталин». Теперь выяснилось, что лично товарищ Сталин указывал кого бить и как бить. На профессора Виноградова лично товарищ Сталин распорядился надеть кандалы. Оглашены распоряжения товарища Сталина — эти резолюции обер-палача на воплях, на столах из пыточных камер. О врачах он сказал министру: «если вы не добьетесь, чтобы они признались, полетит ваша голова». Прекрасно звучит в этом контексте выражение «не добьетесь». Я надеюсь, эти слова будут запечатлены в учебниках, и школьники будут их учить наизусть.

Вчера впервые мелькнуло мне в облике Анны Андреевны репинская «Царевна Софья». Неистовство в расширенных зрачках, в развернутых плечах, в голосе — тихом, но страстном. Гневная одышка. Сила — запертая, скованная, рвущаяся из тисков.

Звонили друзья, просились в гости: Наталия Иосифовна, еще кто-то. Но Анна Андреевна не приняла никого.

— Нет, — сказала она мне, вернувшись очередной раз от телефона. — Я и подходить больше не стану. Этот праздник мы будем праздновать с вами вдвоем.

Праздновали мы так: Анна Андреевна велела смочить полотенце холодной водой, легла и положила его себе на лоб.

Я села возле. Фадеев послал письмо о Леве. Радость — но даже и эта радость тонет в лучах хрущевской речи.

— Того, что пережили мы — говорила с подушки Анна Андреевна — да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! — не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы — все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли — мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казенные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь — шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье. Невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили.

Я сказала, что многие, в особенности из молодых, смущены и ушиблены разоблачением Сталина: как же так? гений, корифей наук, а оказался заплечных дел мастером.

— Пустяки это, — спокойно ответила Анна Андреевна. — «Наркоз отходит», как говорят врачи. Да и не верю я, что кто-нибудь чего-нибудь не понимал раньше. Кроме грудных младенцев.

Я с ней не согласилась. На своем пути мне довелось встречать людей чистых, искренних, бескорыстных, которые и мысли не допускали, что их обманывают. Это были слепые верующие.

— Неправда! — закричала Анна Андреевна с такой энергией гнева, что я испугалась за ее сердце.

Она приподнялась на локте. — Камни вопиют, тростник обретает речь, а человек, по-вашему, не видит и не слышит!? Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Вы еще тогда понимали всё до конца — не давайте же обманывать себя теперь. Ну, конечно, они, как и мы с вами, не имели возможности выучить наизусть его бессмертные распоряжения в оригинале, но что насчет «врагов народа» всё ложь, клевета, кровавый смрад — это понимали все. *Не хотели понимать* — дело другое. Такие и теперь водятся...

II РОССЫПЬ

18 мая 1939

О «Божественной Комедии» Данте в переводе М. Лозинского. Лозинский принес ей «Ад».

— Перевод замечательный, — говорит она. — Я читаю с наслаждением. Есть места натянутые, но их мало. Я сижу и сверяю.

Я, со свойственной мне способностью ляпать не подумавши, осведомляюсь, знает ли она итальянский.

Она, величаво и скромно :

— Я всю жизнь читаю Данта.

19 августа 1940

О статьях Вяч. Иванова :

— Читаю «По звездам» Вячеслава. Какие эти статьи! Это такое озарение, такое прозрение. Очень нужная книга. Он все понимал и всё предчувствовал. Но удивительно: при такой глубине понимания, сам он писал плохие стихи. Он, конечно, поэт, и поэт замечательный, но стихи часто писал плохие. Не думайте, тут противоречия нет; можно быть замечательным поэтом, но писать плохие стихи. Читаешь его статьи и думаешь: человек, который так понимает поэзию, должен стихи писать необыкновенные. И в самом деле: в стихах та же глубина понимания, та же тонкость и прелесть образа, но — но — ритм вялый, бальмонтовский. Конечно, некоторые стихотворения и у него есть прекрасные, но они редки.

17 октября 1940

Я сказала, что слава имеет, видно, свои худые стороны.

— О, да! — весело подтвердила Анна Андреевна — когда едешь в мягком ландо, под маленьким зон-

тиком, с большой собакой рядом на сиденьи и все говорят: «вот Ахматова» — это одно. Но когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селедками и пахнет селедками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть еще десять дней, и вдруг сзади кто-то произносит: «Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду» — это совсем другое. Меня зло взяло, я даже не оглянулась.

12 марта 1956

Про «обезьянку» Мориака.

— Полный смрад. Многие в восторге, потому что не знают образцов: не читали Сартра, Хемингуэя, Стейнбека. Например, Стейнбек: «Mice and men». Каждому слову веришь, и страшно (повесть о сезонниках). А этот бежит сзади и кричит: «И я! и я!» А сам не умеет ровно ничего. Единственный вывод: если мужчина импотент — ему не следует жениться. Всё.

12 марта 1956

О поэме В.

— Он воображает, будто можно написать поэму обыкновенными кубиками. Да ими 16 строк напишешь, не больше! Всё это от невежества. Греки писали ёмким гекзаметром, Дант терцинами, где были внутренние рифмы, где всё переливалось, как кожа змеи. Пушкин, пускаясь в онегинский путь, создал особую строфу. Всё играет внутри, на смену каламбуру приходит афоризм и т. д. А тут — отмахать целую поэму, тысячи километров кубиками. Какая чепуха!

7 апреля 1956

— Шекспир требует рамы — и только. Его нельзя ставить на фоне пейзажа. От неба, моря, деревьев, сразу гибнет всё. Пейзаж ему противопоказан. В

действительности ведь он пишет о Лондоне, идет ли речь о Венеции или о Вероне. И слуги у него — лондонский сброд, а не венецианский. Шекспира надо ставить так, как ставят англичане: сцена, две ступеньки, принц в плаще, на него направлен свет, и он произносит гениальные слова.

27 июля 1956

О стихах К.:

— Мальчик написал правду — и правда сию минуту расплатилась с ним чистым золотом поэзии. Но не всегда так бывает. Те хорошие люди — ну, в девяностых годах — они ведь писали тоже от благородных чувств, но их чувства не слагались в поэзию, потому что стих тогда был совершенно уничтожен, убит. « Великие учителя » отучили создавать поэзию и воспринимать ее. А сейчас у этого мальчика за спиной снова высокая культура стиха.

3 сентября 1956

— В Блоке жили два человека: один гениальный поэт, провидец, пророк Исайя; другой — сын и племянник Бекетовых и Любин муж. « Тете нравится »... « маме не нравится »... « Люба сказала »... Почему Пушкин никогда не сообщал никому, что сказала Наталия Николаевна ?

18 января 1957

О сборнике ее стихов, издаваемом Гослитиздатом :
— Я была в Гослитиздате и огорчена. Я хочу , чтобы книга называлась « Стихотворения Анны Ахматовой », а они требуют « Анна Ахматова. Стихотворения ». Мое заглавие немного старинное, подходит к моим стихам, а это телеграф.

14 сентября 1957

— Багряна (1) подражает Ахматовой, а теперь Ахматова будет переводить Багряну... В этом есть нечто ужасное, противоестественное: туда и обратно, так и этак перекраивается живая ткань... «Остров доктора Моро» (2), вы читали?

2 октября 1957

О «Преступлении и наказании» Достоевского:

— Это единственный его роман «как у людей». Всё происходит по порядку на глазах у читателя. В остальных романах — в «Подростке», в «Бесах» — всё основное уже было, где-то вдали и давно. Там где-то, у озера, в Швейцарии, в прошлом. А в «Преступлении и наказании» всё тут же, всё у нас на глазах. Зато там есть одна лишняя линия — Мармеладовы. Автору для «Преступления и наказания» одна только Соня нужна, а Екатерина Ивановна и отец — это из другой оперы, это из ненаписанных «пьяненьких».

15 октября 1957

О стихах Л.:

— Поэзия его лишена тайны. Она вся тут сверху, вся как на ладони. Если же заглянуть вглубь, то позади многих стихов чувствуется быт совершенно мещанский: вязаная скатерть, на стене картина — не то «Переезд на новую квартиру» (3), не то «Опять

(1) Елизавета Багряна — болгарская поэтесса; в 1959 г. ее стихи, в переводах Ахматовой, появились в журналах и в сборнике «Сердце человеческое» (М. Гослит).

(2) «Остров доктора Моро» — фантастический роман Герберта Уэллса о враче-физиологе, который разными способами, не исключая и вивисекции, пытался «перекраивать» живых зверей.

(3) «Переезд на новую квартиру» — картина А. Лактинова.

двойка». В сущности это плоско. Полуправда, выдающая себя за правду.

4 декабря 1957

— 50 лет не брала в руки Софокла. Теперь перечла. И не потеряла его. Оказывается, можно спокойно его перечитывать и не обеднеть.

24 декабря 1957

О симфонии Шостаковича «1905»:

— Там песни пролетают по черному страшному небу, как ангелы, как птицы, как белые облака!

7 января 1958

— Входит мой хороший знакомый и сообщает торжественно, что один москвич в старые годы знал сына Тютчева от его последней дамы... Я не растерялась. Бешенство сделало меня вдохновенной. Я в ту же секунду ответила: через 50 лет кто-нибудь скажет, что лично знал моих близнецов от Жоры (такой подросток сюда ходит). Один был миленький-миленький, а другой ужасно, ужасно неудачный...

8 марта 1958

В Болшеве:

— Сегодня в парке березы как березы, а когда они освещены солнцем, то становятся такими бесстыдно-нестеровскими...

19 ноября 1958

О Лермонтове:

— Так быть в зависимости от Пушкина, в полной,

совершенной, рабской, и освободиться от нее совсем — вот в чем сказался лермонтовский гений.

7 декабря 1958

Я сообщила, что сегодня утром, в парикмахерской, видела молоденькую девушку с ахматовскими «Четками» в руках. Мать сердилась: «Зачем взяла с собой? Еще потеряешь! Ведь это уникальная книга».

Анна Андреевна припомнила:

— Когда уникальная книга вышла — я была удручена — мне она представлялась очень плохой. И всё надоедала мужу жалобами. Один раз, рассердившись на мое нытье, он сказал: «Ну, если хочешь, чтобы книжка была хорошая — включи «Анчар» Пушкина».

26 апреля 1959

На столе — том писем Достоевского.

— Здесь есть замечательное письмо о речи на пушкинских торжествах. Сколько о ней наговорено, написано, а тут он сам о ней рассказывает. Кроме того из этих писем ясно, что Анна Григорьевна была страшна. Я всегда ненавидела жен великих людей и думала: она лучше. Нет, даже Софья Андреевна лучше. Анна Григорьевна жадна и скупа. Больного человека, с астмой, с падучей заставляла работать дни и ночи, чтобы «оставить что-нибудь детям». Такая подлость! Он пишет ей «Пообедал за рубль». Зарабатывал десятки тысяч и не мог пообедать за два рубля!

ПРИМЕЧАНИЯ

*) *Эмма Григорьевна Герштейн* — историк литературы, специалист по Лермонтову. Основной труд — книга «Судьба Лермонтова» (М., Советский писатель, 1964).

Э. Герштейн познакомилась с А.А. зимою 1933-34 г., в доме поэта О. Мандельштама. Долгие годы она принимала самое деятельное участие в хлопотах А.А. о Леве: ходила с ней вместе, а иногда и вместо нее, в Прокуратуру; добывала у влиятельных лиц письма в его защиту и характеристики его научных работ; помогала А.А. посылать Леве посылки, для чего ездила за город, так как отправка посылок из Москвы была запрещена и т. д.

В те годы, когда А.А. по болезни уже не в силах была посещать архивы и библиотеки — Э. Герштейн помогала ей в ее пушкинистских изысканиях.

Как-то раз, в случайном разговоре, в Ташкенте, я заметила Анне Андреевне, что одна статья Эммы Герштейн представляется мне хоть и верной, но скучноватой. «Вы заблуждаетесь, — ответила мне А.А. — я прочитала ее с большим интересом. Там свежий, новый материал и новые мысли. А если бы и скучно! Эмма — надежный, верный друг. Это гораздо важнее».

После кончины А.А. Э. Герштейн вместе с К. Чуковским и мною составила для Лениздата сборник избранных произведений Анны Ахматовой: К. Чуковским написана вступительная статья, мною подготовлен отдел поэзии, Э. Герштейн — отдел прозы: воспоминания Ахматовой и ее статьи. В 1969 году мы продержали последнюю корректуру этой книги: издательство объявило ее принятой; о ее выходе появились сообщения в печати; однако она не выпущена в свет до сих пор.

Э. Герштейн подготовила также к печати неоконченную книгу Ахматовой о Пушкине; один отрывок опубликован в «Литературной Газете» (4 июня 1969 г.)

— « Пушкин и Невское взморье », второй — в журнале « Вопросы Литературы » (1970, № 1) — « Незданные заметки Анны Ахматовой о Пушкине ».

*) *Николай Иванович Харджиев* — прозаик, искусствовед, стиховед. Ему принадлежат повести о Федотове, Баранцикове, Ползунове; многочисленные статьи о новаторстве в изобразительном искусстве, а также о поэзии. (См., например, статью « Маяковский и живопись » в книге « Маяковский. Материалы и исследования », М., Гослитиздат, 1940). Н. Харджиев — вместе с В. Трениным — редактировал первый том первого посмертного Полного Собрания сочинений В. Маяковского; (М., Гослитиздат, 1935); совместно с Т. Грицем — книгу « Незданные произведения » Велимира Хлебникова (М., Гослитиздат, 1940); им подготовлены к печати и прокомментированы избранные стихи О. Мандельштама для Большой Серии « Библиотеки Поэта » и мн. др.

А.А. познакомилась с Н. Харджиевым в конце двадцатых годов. Она ценила разносторонность и глубину его познаний и любила советоваться с ним о своей работе. Говорила о нем: « Николай Иванович удивительно понимает искусство. Он так же хорошо понимает стихи, как картины, а картины так же хорошо, как стихи »...

В 1964 году А.А. окончила воспоминания об Амедео Модильяни, рисовавшем ее в Париже. К своим воспоминаниям она приложила небольшое исследование Н. Харджиева, в котором он утверждает, в частности, что рисунок Модильяни, изображающий Ахматову, « перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия »: с аллегорической фигурой « Ночь » на крыше саркофага Джулиано Медичи, созданной Микель-Анджело. (См. московский альманах « День поэзии, 1967 »).

*) *Мария Сергеевна Петровых* — поэт. В книге « Дальнее дерево » (Ереван, 1968), кроме переводов с

армянского, представлена также и небольшая часть ее оригинальных стихотворений. Переводит она не только армян, но и славян: поляков, болгар, югославов. Редактирует чужие стихотворные переводы. Обучает молодых переводчиков.

О собственной поэзии Петровых я впервые услышала из уст А.А. в Ленинграде. Она читала мне на память стихи Петровых и отзывалась об авторе, как об одном из самых значительных русских современных лириков.

Мария Сергеевна познакомилась с А.А. осенью 1933 года. Позднее, в те годы, когда А.А. стала подолгу гостить в Москве, останавливалась она, если не на Ордынке у Ардовых, то чаще всего — «у Петровых, на Беговой». Это был ее второй московский «дом». А.А. любила показывать Марии Сергеевне свои стихи, переводы, статьи. По просьбе А.А. М. Петровых помогла ей составить сборник «Анна Ахматова. Стихотворения», вышедший в ГИХЛ'е в 1961 году.

К М.С. Петровых, как известно, обращено стихотворение О. Мандельштама «Мастерица виноватых взоров», (которое А.А. в своих воспоминаниях назвала «лучшим любовным стихотворением XX века»). В моем дневнике сохранилась такая запись (от 19 ноября 1958 г.):

«Знаете, Лидия Корнеевна, — говорит А.А. — я сделала открытие: оказывается, Мария Сергеевна замечательный пушкинист. Эта «мастерица виноватых взоров» — мастерица скрывать таланты. Ну, со стихами понятно: они задушены переводами. Но и свой пушкинизм она мастерски скрыла. Знаток, исследователь, первоклассная голова. Она прочитала мою статью о «Каменном госте» и говорила со мной, как ни один человек. Я была потрясена».

СТИХОТВОРЕНИЯ ПАМЯТИ А. АХМАТОВОЙ

ТРАУРНЫЕ ОКТАВЫ

Голос

Забылось, но не всё перемололось...
Огромно-голубиный и грудной
в разлуке с собственной гортанью голос
от новой муки стонет под иглой.
Не горло, но безжизненная полость
сейчас, теперь вот ловит миг былой,
и звуковой бороздки рвется волос,
но только тень от голоса со мной.

Воспоминание

Здесь время так и валит даровое...
Куда его прикажете девать,
сегодняшнее? Как добыть опять
из памяти мгновение живое?
Тогдашний и теперешний — нас двое,
и — горькая двойная благодать —
я вижу Вас, и я врываю вспять
сквозь этих слез в рыдание былое.

Портрет

Затекла рука сердечной болью...
Как Вы посмотрели навсегда
из того мгновения на волю
в этот вот текущий миг, сюда!
В памяти я этот облик сдвою
с тем, что знал в позднейшие года.
Видеть Вас посмертною вдовою,
Вас не видеть — вот моя беда.

Взгляд

С мольбой на лбу, в кладбищенском леску
в день грузный и сырой, зимне-весенний
она ушла от нас к корням растений,
туда, в подпочву, к мерзлому песку.
« Кто сподличать решит, — сказал Арсений, —
пускай представит глаз ее тоску ».
Да, этот взгляд приставить бы к виску,
когда в разладе жизнь, и нет спасенья.

Перемены

Холмик песчаный заснежила крупка,
два деревянных скрестились обрубка;
их заменили — железо прочней.
На перекладину села голубка,
но упорхнула куда-то... Бог с ней !
Стенку сложили из плоских камней.
Всё погребенье мимически-жутко
знак подает о добыче своей.

Все четверо

Закрыв глаза, я выпил первым яд.
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела : в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца-побратима.
Их дружба, как и жизнь, необратима.

Встреча

Она велела мне для Пятой розы
эпиграфом свою строку вписать.
И мне бы — что с Моцартом ей мерцать,

а я — о превращеньях альбатроса
непоправимо внес в ее тетрадь.
И вот — она, она в газетной прозе !
Эпиграф же — и впрямь по-альбатросьи —
куда вдруг улетел — не разыскать.

Слова

Когда гортань — алтарной частью храма,
тогда слова святым дарам сродни.
И даже самое простое : « Ханна !
Здесь молодые люди к нам, взгляни... »
встает магически, поет благоуханно.
Всё стихло разом в мартовские дни.
Теперь стихам звучать бы невозбранно,
но без нее немотствуют они.

1971

СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ
ПАМЯТИ АННЫ АХМАТОВОЙ. 1966 — 1972

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вы — с трепетом, я — с отвагой,
таинственно — Вы, я — просто,
бывало, поднимем мы
стаканы с « живою влагой »
в ритме беззвучного тоста,
и потекут из тьмы —

слова позабытой эклоги,
смешок из давнишней роли
и музычка и шу-шу-шу...
Нет больше к той даче дороги,
и толку нет в алкоголе !
Зачем же я здесь пишу —

не то эпилог романа,
не то к мадригалу посылку,
не то записочку Вам ?...
Ведь нет того океана,
куда бы пустить бутылку,
с письмом заветным бутылку,
чтоб к Вашим плыла берегам.

І. С О Н

Из-под столетней дряхлости руин
вновь закивал фарфоровый китаец,
упал ваш друг, подстреленный как заяц,
и скрыл печаль заезжий господин.

Кто может вашу огранить слезу ?
Гаагские молчальники-евреи...
Преломлены стеклом оранжереи... —
нет, нет, вы — на балконе, я — внизу.

Всей головы, как на бегу, наклон,
немного рта размазанная ранка...
Как вам к лицу зеркальная огранка
и светотень прозрачная колонн!

Смахните бисер пота изнутри,
а я снаружи обветшалый иней.
Пройдя с усмешкой сквозь толпу эринний,
вы тенью растворяетесь в двери.

И явственно я слышу ваш отказ :
« Ни на один вопрос вам не отвечу ».
Какая грусть : опять готовить встречу,
И явственно я слышу ваш отказ.

II. КАРТИНА В РАМЕ

Хоть картина недавняя, лак уже слез,
но сияет еще позолотою рама :
две фигуры бредут через реденький лес,
это я и прекрасная старая дама.

Ах, пожалуй, ее уже нет, умерла.
Но опять как тогда (объясню ли толково ?)
я еще не вмешался в чужие дела,
мне никто не сказал еще слова плохого,

кто был жив — те и живы, на воле друзья,
под ногами песок и опавшая хвоя,
кто-то громко смеется — наверное, я,
в этих пепельных сумерках нас только двое.

Всё, что нам пригодится на годы вперед,
можно выбрать из груды ненужного хлама.
Мне об этом с усмешкой в тот траурный год
говорила прекрасная старая дама.

Да, конечно, ее уже нет, умерла.
Но о том, как мне жить, еще не было речи,
кто-то жалит уже — но еще не со зла,
электричества нет — но и лучше, что свечи,

печь затопим, заброшенный дом оживим
и подружмся с кем-то из призраков местных
и послушаем Моцарта — о, херувим,
он занес к нам те несколько песен небесных.

Хорошо... И хотя никакому ключу
не открыть погребенную в хламе шкатулку,
я теперь не при чем и, когда захочу,
выхожу на последнюю эту прогулку.

Свет осенний попрежнему льется с небес.
День безветренный. Тихо. И держатся прямо
две фигуры, бредя через реденький лес :
это я и прекрасная старая дама.

III. ПРОПИСИ

...vielh'en tot bel joven...
Rigaut de Berbesieu

Разве Жалость — не птица ?
И не змея ли Злоба ?
Или когтистая птица —
Злоба ? А Жалость — змея ?
Девять волн — и Эпоха,
суши клок — и Европа,
перья щекочут губы,
колетса чешуя.

Жалость — такая малость,
вздор, Саваофа шалость,
Злоба — семиголовый
десятиричный ноль;
приобретаю бывалость,
Старость, мое почтение !
превозмогая усталость —
Ваше здоровье, Боль !

Линьку змеи и птицы
видела видеть Старость,
посвист их слышала слышать,
Старость пожить пожила :
еще щебетала яркость
а дева уж прятала мельком
старость свою в зеркала.

Разве весны приметы
знает долина Леты ?
Давшие клятву на верность
Возрасту своему,
переживают возраст :
Девственность, Девственность, где ты?...
Старость скользит ко свету,
Юность летит во тьму.

IV. МОНОЛОГ

Голос

Давай отправимся, ты да я,
туда, где было прохладно и в зной,
где усыпана хвоей была скамья,
врытая в землю в чаще лесной,
в полуночно-полуденные края
под пепельным солнцем и рыжей луной,
где, глотнув одуряющего питья,
это время вообразил я страной,
и ни правды не было, ни вранья
в том, что я называл эту землю родной,
где в последний раз я сказал « друзья »
тем, кому было приятно со мной,
давай отправимся, ты да я,
Туда — где нет теперь ни одной
человечьей тропы, ни следа жилья,
где от серой золы почернел перегной,
там они, мои братья, моя семья,
Тени, мечущиеся за спиной,
кучку щепок гнилых там найдем и тряпья,
а когда-то весной, нет, зимой, нет, весной
я там жил. И была эта жизнь — моя.

Эхо

Давай отправимся, ты да я,
я пойду впереди, а ты за мной,
по темной квартире, где знали меня,
еще перед той, перед той войной,
жаль, что не разглядеть без огня
с фавном и нимфой камин резной,
правда всегда с ним была возня
и весь закопчен потолок лепной,
а сумерки здесь начинались с пол-дня
и часто туман наползал речной,

и частые гости, шум, толкотня,
тот был — один, а этот — с женой,
и кто-то был свой человек, родня,
и кто-то был человек дурной —
а теперь объясни, никого не виня,
почему же выбит замок дверной,
почему флигелек подожгла солдатня
и что значит под окнами мат площадной,
почему так легко истлевает броня,
почему становится жизнь иной,
вся жизнь вокруг. И моя. И твоя.

Вместе

Давай же отправимся, ты да я,
в не нами проложенный путь земной,
туда, где еще колосятся поля
и воздух зеленый пахнет сосной,
туда, где не то шумят тополя,
не то набегает волна за волной,
туда, где висит из лыка петля,
но жив до сих пор исцеленный больной,
где средь диких камней скелет корабля,
и скамья в лесу, и камин резной,
и плач за стеной, и звон хрусталя,
вот куда ведет этот путь кружной,
туда — куда плыть без ветрил, без руля,
туда, где всему только мы виной,
туда, где ты уже было мной...
Так давай же отправимся, ты да я,
туда, где жизнь — ни чья. Ни чья.
Ни твоя, ни моя. Ни чья.

V. ПРОЩАНИЕ

If music and sweet poetry agree...
Richard Barnfield

Последняя метель,
февральский снег горизонтальный.
Казенная постель,
в гостиной вечер музыкальный.

Там участь решена,
сестру царица призывает.
Жестокая весна
себя в аллее убивает.

Пора! В последний раз
свет отпускающего взгляда.
« Прощайте ». — « В добрый час ».
Дуга курортной колоннады.

Метель. Автомобиль.
На сцене — лес, холмы, лощина.
Домашний старый стиль —
канун и вместе годовщина.

Снежинок круговерть.
В последней части бас и трубы...
Последний сон. — И смерть.
Так неожиданно, так грубо!

VI. ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ

Без Вас. Без Вас. Без Вас, без Вас, без Вас. . .
Я здесь — не видит. Я зову — не слышит.
Не все ли ей равно на этот раз,
кто как живет на свете, кто чем дышит.

VII. ПАЛИНОДИЯ

Хотя я оделся легко, а стало свежо,
хотя в колпаке покаянном стоял Го-мо-жо,
хотя всем в убыток бастуют заводы Пежо,
 все будет хорошо,
 все будет хорошо,
поскольку была духота, а стало свежо,
поскольку остался в живых мудрец Го-мо-жо,
поскольку идет в утиль самый лучший Пежо.

Хотя в президента стреляют из склада книг,
хотя с другом юности рвет отношения старик,
хотя в наших душах ужасный свершается сдвиг,
 все будет хорошо,
 все будет хорошо,
недаром нетронуты временем склады книг,
недаром оставил нам все, умирая, старик,
недаром мы маемся, в сердце почувствовав сдвиг.

Хотя над Ташкентом три ночи стояла звезда,
хотя поддыхает рыба и тухнет вода,
хотя не случится что было, уже никогда,
 все будет хорошо,
 все будет хорошо,
не зря средь зимы над вертепом горела звезда,
не зря в горсти вся-вся уместилась вода,
не зря, что было, того не избыть никогда.

Хоть в этом году для июля слишком свежо,
хоть спасся и даже у власти опять Го-мо-жо,
хоть только игрушка, а дорого стоит Пежо,
 все будет хорошо,
 все будет хорошо,
недаром стоят нерушимо хранилища книг,
недаром из дому ушел перед смертью старик,
недаром ужасным — душевный нам кажется сдвиг.

Хотя над Ташкентом три ночи стояла звезда,
хотя поддыхает рыба и тухнет вода,
хотя, что было, того не избыть никогда,
 все будет хорошо,
 все будет хорошо,
не зря над Ташкентом три ночи стояла звезда,
не зря поддыхает рыба и тухнет вода,
не зря, что было, того не избыть никогда.

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ КНИГИ «ВЕЧЕР»

«Эти мелочи, эти конкретные осколки нашей жизни мучат и волнуют нас больше, чем мы этого ожидали, и, будто не относясь к делу, точно и верно ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись и страдали — где мы жили», — это слова из предисловия Михаила Кузмина к ахматовскому «Вечеру».

«Вечер» вышел шестьдесят лет назад. «Восхитительно украшенный фронтисписом Евгения Лансере», — написал в «Речи» Городецкий. Ахматова читала эту рецензию уже во Флоренции. Картинка Лансере так и осталась навсегда в том двенадцатом годе. Лиру на обложке начертил Городецкий. Тираж книги был получен вместе с «Дикой порфирой» Зенкевича, украшенной такой же лирой — эмблемой Цеха Поэтов.

Когда через два года Ахматова составляла «Четки», он включила далеко не все стихи из «Вечера». «Среди неповторенных стихов есть казенные с излишним жестокосердием» (Н.В. Недоброво).

Поклонники каламбурили, что это скорее «Утро нашей музыки» (Пяст). Анна Андреевна сначала хотела назвать книгу «Лебеда»: «Вечер» — название более обычное, через два года так назвала сборник Поликсена Соловьева. Лебеда — потому что «я на солнечном восходе лебеду полю». Солнечный восход противопоставлен лебеде, которую Волошин в стихах называл «рабыней смертно-влажной Луны». С Луной у Ахматовой были свои отношения. Когда она в Ленинградской элегии «О десятих годах» сказала: «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь...» — то это «не так, для стиха, а буквально». В юности она болела лунатизмом. «Ход солнца ты б охотно задержала», — сказал ей в мадригале Кузмин.

Дебют протекал не так гладко, как уверяет миф. На то были причины. В конце 1909 года разразился скандал с Черубиной де Габриак. Когда аполлоновцы приехали на вечер 29 ноября в Киев (Кузмин и Гумилев остановились у Экстеров, Гумилев встречался с Анной Андреевной), газеты были полны негодования и ехидства по поводу дуэли Волошина и Гумилева. Летом 1910 года, когда Ахматова приехала в Петербург, законодатели вкуса не хотели попадать впросак с новой звездой.

В каком-то отношении это был самый необычный дебют в мировой поэзии. В стихах Ахматовой, как впоследствии сказал Гумилев, впервые получило свое место в поэзии то, что до тех пор было достоянием «проб пера».

Женщина в искусстве была модной проблемой. Андре Терье, из которого взят эпиграф к «Вечеру», посвятил стихи памяти Марии Башкирцевой. Впрочем, за «блестящей памяти Марии Башкирцевой» Гумилев упрекал первую книгу Цветаевой. Что касается «Вечера», то его недостатком Гумилев считал «разбросанность мысли».

«Вечер» писался в 1910-1911 году, в Киеве и Царском Селе.

Факт, ускользнувший от историков литературы: в ту пору Анна Андреевна думала попробовать свои силы в модном искусстве пластического танца. Говорят, что и Гумилев советовал пойти в балерины.

В комнате Анны Андреевны в Царском — цветы и старинная мебель. Маленький рабочий кабинет Николая Степановича заставлен лишь книгами, среди которых много французских журналов, принадлежавших прежде Иннокентию Федоровичу Анненскому. Это — из воспоминаний А. Кондратьева.

Всем казалось почему-то, что написавшая «Вечер» «в Россию пришла ниоткуда». «Ваш эвкалипт раскрыл свои цветы» (Василий Комаровский). «Узкий, нерусский стан над фолиантами» (Марина Цветаева).

Не только Модильяни называл ее «египтянкой». Князь Сергей Волконский впоследствии вставил в свой роман-хронику «Последний день» кусочек петербургского разговора: Ахматову называют «ассирийской царицей».

Возникают, стираются лица... Владимир Эльснер, киевский поэт, шафер на свадьбе, Дмитрий Коковцов, знакомец Гумилева по Царскому Селу; Софья Исааковна Дымшиц-Толстая, Александра Александровна Экстер, Надежда Григорьевна Чулкова, Вера Евгеньевна Аренс, Вера Константиновна Иванова-Шварсалон — друзья первого призыва.

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина.

«Башня» Вячеслава Иванова, Общество ревнителей художественного слова, Цех поэтов — обычно поминаемые... Но не только. Еще и «Вечера Случевского». Один — 19 ноября 1911 — у Гумилевых. «А все, кого я на земле застала, Вы, века прошлого дряхлеющий посев!»

Возникают, стираются лица... 31 июля 1911 года в Париже застрелился Виктор Гофман, с которым Ахматова незадолго перед этим познакомилась. В апреле 1911 года Кузмин приезжал в Царское с Всеволодом Князевым. Гумилев сказал тогда о Князеве, что это самый красивый мужчина, которого он видел, и это было ровно за два года до пятого апреля девятьсот тринадцатого. «Речь», воскресенье, 7 (20) апреля 1913, в разделе «Скончались», на седьмой странице: «Князев Всеволод Гаврилович».

Разбросанность мысли... Лейт-темы: обман, опьянение... «Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль» — перекликается с тем стихотворением Терье, из которого эпиграф. «Маскарад в парке» (написан 6 ноября 1910 в Киеве).

« Я вас обожаю, кузина !
Извольте цветок сей принять... »
Смеются под звук клавесина,
И хочет подружку обнять.

Это из « Золота в лазури » Андрея Белого. А вот
« Маскарад в парке » :

« Как вы улыбаетесь редко;
Вас страшно, маркиза, обнять ! ? »
Темно и прохладно в беседке,
« Ну, что же ! пойдём танцевать ? »

О следах чтения Кузмина в « Вечере » писали почти все. Сам Кузмин в предисловии сближал Ахматову с Лафоргом, возможно это отголосок разговора с Анной Андреевной. Но самое главное — Анненский, « сказавший, что сердце из камня ». И « Не любил, когда плачут дети » написано с оглядкой на « Тоску припоминания ».

Обернулось пророчеством четверостишие « Стояла долго я у врат тяжелых ада », записанное в конце 1910 года в « Литературную тетрадь » Валентина Кривича.

« А красотой без слов повелено : Гори, гори. Живи, живи ». Эти блоковские стихи — ровесники « Вечера ».

« Итак, сударыни и судари, к нам идет новый молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэтом. А зовут его — Анна Ахматова ».

...И выходили люди и кричали :
« Она пришла, она пришла сама ! »
А я на них глядела с изумленьем
И думала : « Они с ума сошли ! »
И чем сильнее они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить;
И тем сильнее хотелось пробудиться,

И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, — но длилась пытка счастьем.

СРЕТЕНЬЕ

(Памяти Анны Ахматовой, 16.II.1972)

Когда она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.

И старец воспринял младенца из рук
Мариин; и три человека вокруг
младенца в то утро, как зыбкая рама,
стояли, затеряны в сумраке храма.

Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взора небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.

И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу, но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.

А было поведено старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: — «Сегодня,

реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
Дитя: Он — Твое продолженье и света

источник для идола чтящих племен,
и слава Израиля в Нем». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,

кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.

И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала: « Слова-то какие... »
И старец сказал, повернувшись к Марии :

« В лежащем сейчас на раменах твоих
падение одних, возвышение других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же, Мария, оружием, которым

терзаема плоть Его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око ».

Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значении и в теле

для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
к белевшему смутно дверному проему
шел молча по этому храму пустому.

И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного :
но то не его окликали, а Бога

пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер касался, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.

Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству лишенному тверди,

Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропею
душа Симеона несла пред собою,

как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стихотворения А. Ахматовой	9
Список стихотворений, изъятых редакцией издательства « Советский писатель »	29
Автобиография и два письма Анны Ахматовой . .	31
Лидия Чуковская. Из книги « Записки об Анне Ахматовой »	43
Дмитрий Бобышев. Траурные октавы	201
Анатолий Найман. Семь стихотворений памяти Анны Ахматовой	204
Л. Титов. К шестидесятилетию книги « Вечер » . .	213
Иосиф Бродский. Сретенье	218

